

ВЛАДИМИР
ЛЕОНОВИЧ

ХОЗЯИН И ГОСТЬ

КНИГА
СТУХОВ

Рабочим ангелам Руси



ВЛАДИМИР
ЛЕОНОВИЧ

ХОЗЯИН и ГОСТЬ

КНИГА
СТИХОВ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,
ПЕРЕРАБОТАННОЕ
И ДОПОЛНЕННОЕ

ББК 83.3(2РОС=РУС)6-5*84

Л47

*Автор сердечно благодарит своего мецената,
пожелавшего остаться неизвестным*

*Оружие
не достанет*

Художник Владимир Васильев

Фото Георгия Белякова

Предисловие Валентина Курбатова

Леонович В.

Л47 Хозяин и гость: Книга стихов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Научный мир, 2000. – 368 с.

ISBN 5-89176-105-X

ББК 83.3(2РОС=РУС)6-5*84

ISBN 5-89176-105-X

© Леонович В.Н., 2000
© Васильев В., художник, 2000
© Беляков Г., фото, 2000
© Курбатов В., предисловие, 2000
© Научный мир, 2000

ЗА МНОЮ — ЖИЗНЬ

...Раньше в монастырях братья говорили друг другу при встрече вместо приветствия “как спасаешься?” Леонович, “сын Боголюбской матери”, эту традицию помнит и так неведомому собеседнику /не мне ли?/ и отвечает: “Как спасаюсь? До зари просыпаюсь, прыгаю в полынью. Жизнь подобна моя житию. Примерзаю ко льду, вылезая, по снегу бреду к ризам...” И далее можно бы половину книги привести этих внешних подробностей жизни: как колет дрова, охотится, пишет, учит детей, рубит избу, кладет печи /“Как рад, что успел я — несметно порвал рукавиц, как рад я, что в дело мужицкое все-таки вник, что сам, от усталости на землю падая ниц, я взял у земли — что не вычитал бы из книг!”/. Так и весь быт увидишь: и бедные деревни, с которыми он делит жизнь, и его соседей с их простыми заботами и привычным горем /“не сердись на меня сыночек Ванюшко плоха стала я где бы батюшку нету батюшки нигде нет и в Пудоже видно ждут меня к себе знать зовут уже...”/. Тем и спасается, чем всякий человек от века на Руси, — жизнью.

Но это на один внешний взгляд, как если бы мы в соседях жили и изо дня в день виделись. А там, за дверями-то, когда один, когда бессонница? Там мысль его напряжена и неутомима, и хоть он уверяет, что “с годами состарился гнев и жалостью стал нестерпимой”, но следующая строка этого же стихотворения тотчас и опровергает сказанное: “Но — русской истории блеф? Но — злоба отчизны родимой? Как с ними? Составлен букварь, где царствуют Милость и Жалость. Но — это собрание харь? Но — та, Иисусова, ярость?” Он нигде не опускает глаза перед злом, перед позором, перед нечистотой самоновейшей нашей истории и пишет ее жестко и болезненно, с непреображенной горячностью, как если бы зло творилось сию минуту, а его руки были связаны, и оставалось одно оружие слова.

...Этот гнев на ГУЛАГ, на оскорбляющую ложь власти, на подлое золото Колымы /“Безбожный труд пойдет невпрок, вернется золото в песок и встанет горла поперек у нищих отнятый кусок”/ можно бы счесть безопасно припозднившимся, когда бы не все искупающая страстная искренность и почти физическая, физиологическая боль стихов и сопутствующая ей “нравствен-

ная тошнота”. Какая тут история! Видно, что поэт хватается за перо, чтобы, перемахнув десятилетия, оказаться прямо перед всемогущим тогда “мемориальным трупьем” и тут же отомстить злодеям за страданье Шаламова, Волкова, Жигулина, Чичибабина — кого он знает и любит, друзей загородить, беды их не забыть и не простить, потому что забвение есть путь к повторению. /“Мы были суровы, а стали угрюмы. Давайте напишем БЫЛОЕ И ДУМЫ — нам память сердечная не изменила и все похороненное сохранила”/.

Ничего не хочет забыть и нам не дает перепрыгнуть в Европу, “как будто ничего не было”, как будто бывшее не изувечило нашей психологии и не позволило секретарям обкомов без паузы перейти в банковское ворье, чекистам — в мафиози, а идеологам — в лжецы Президентского Совета. /Не это ли мучило Игоря Дедкова в пору последней, предсмертной ясности мысли? Откройте его “Дневник”, положите рядом стихи нашего автора, которые он так ценил.../ Когда Леонович пишет нынешнее страдание деревни, всеобщую брошенность человека, опять не отвлеченного, а во всех стихах по именам названного — пойдя и спроси у него самого, у человека, каково ему “спасаться”! — и тут гнев, слезный и праведный, собьет дыханье ваше, осветит что-то заждавшееся света в глубине души вашей... Как это назвать? Назовем РУССКИЙ КАТАРСИС — принадлежность страны, где издавна клин клином вышибают.

Не зря его задушевная мысль состоит в том, что русская поэзия “началась книгой Исая”, а нравственное сознание возбудил и воспитал Иоанн Богослов, не спавший, согласно апокрифу, в Гефсиманском саду. Мандельштам писал о вражде “монашеской словесности Византии — и живой обмирщенности” и предпочитал последнюю. У Леоновича, хоть “монашеского”-то не сыщешь, но ТОТ упламень аввакумовский слышен, ТА беспокойная глубина и непрерывное чувство соединенности всего со всем торжествуют — как умеет торжествовать личная ересь: “земля и небо — все во все вросло”! “Земля и небо — все живое. Все содрогнулось бытие — и помещение жилое твое — и зыбкое земное существование мое.” Покоя и гладкости этот путь не сулит — ни житейской, ни поэтической. И оттого он так часто идет “по краю прозы”, по горькой русской стезе, где Муза делит судьбу

поэта. В одном давнем стихотворении она, Муза, Прекрасная дама, проходит мимо бесстыдного фоторепортажа из вытрезвителя, потупя очи и от стыда умирая, — но вот совсем недавно к тем стихам приросла еще строфа: “Благ твоих, родина, я не отрину, ни твоего откровенного срама. Но воротясь, разбивает витрину вдребезги эта Прекрасная Дама!”

*Ты слышишь?.. Опять... Неизбежный Некрасов —
постылая проза, прикрытая чуть.*

Как это верно — о неизбежном Некрасове! Коли уж прописался “по России”, жди, что форма тебя перестанет защищать, что за безупречным ритмом не спрячешься и дыхание твое сорвется. Поэт постоянно слышит этот сбой /“Задыхается мой разностопный анапест...” “Как пьяный шатается амфибрахий”/, но выправлять шага не хочет, не может, и “прозы” не стыдится, говоря о стихах “без кожи”. От горя не бегаёт, потому что знает, что это значило бы убежать из народа, из сердцевинной его жизни. Скажу лучше: он не может принять приглашение на какой-нибудь поэтический Симпозиум, в какой-нибудь Средиземноморский круиз в разгар лета, чтоб пополнить меню пассажира стихами /с юмором и перцем у него все в порядке/ просто потому, что началась сенокосная страда. И вне всякого гнева и морали: тут люди “разной породы”. И все тут разное — от пафоса и словаря до еды и питья. По слову Искандера: “ты есть то, что ты жрешь” — но воспользуемся определением безгневно — как одною из истин естествознания.

Всяк веселится по своему, сказал чорт садясь голой задницей в крапиву — присловье весьма к месту. “Непрерывность и надежность нашего национального горя — это ли не крепь наша?” спрашивал Леонович в статье о своих товарищах. Вот уж действительно, что у нас надежно, так это горе наше, мучительная наша крепь. Кончилась “страда деревенская”, сошли семь потов и восьмой, банный. Пора и в столицу, к бумагам своим и чужим, к авторам живым и мертвым*, а точнее убитым, добитым после лагеря — волей... Гуляет на Москве эта воля, шалает новороссия! “Вот воля: полный газ! По Поварской! С сиренами! С рос-

* Работа в комиссии по наследству репрессированных писателей

кошным визгом... Пади! И НА ЗЕМЛЕ ВЕСЬ РОД ЛЮДСКОЙ падет хоть в грязь пред этим свинством. Живу среди дурного сна... О, Родина... О, новизна..." Кажется, уж тут не устоишь и ожесточишься и пустишься в подлое поле политики, ударишься в словесный терроризм, когда уж слово не от Бога и не к Богу, а тайно покупаемое и перепродаваемое оружие... Еще недавно, в той же статье, поэт был уверен, что лучшие люди не разнимают рук, пока нелучшие обгаряют их кровью. Теперь, кажется, уверенности поменьше, но тем крепче он сам удерживает руки своих друзей. Книга переполнена посвящениями — чуть ли не к каждому третьему стихотворению. Он не забыл ни одного из умерших и обнял всех живых, церковным опытом зная, что мы только вместе есть целое и что при разорении духа, при над ругательстве над историей, при всеобщем предательстве и лжесвидетельствах — поэтическое слово, может быть, последний хранитель целостной памяти. "А у меня такая мания, что мир поэзия спасет" /Чичибабин/. Сто лет назад мания такая была у Михаила Меньшикова, крепко оболганного в советское время и отчасти воскрешенного /Дедковым в последней его книге/. Меньшиков пишет: "Вне инстинкта Божества нет поэзии, нет стремления к истине и достоинству жизни. Общество, потерявшее религиозное сознание, быстро дичает в самых высоких областях ума и сердца". И как будто продолжает фразу Нобелевский лауреат Сен-Жон Перс: "Когда мифология рушится, именно в поэзии божественное находит прибежище, а, возможно, и залог будущего". Во всяком случае, в поэзии Владимира Леоновича я этот залог вижу. Как легко было остановиться на "неизбежном Некрасове", на "Господь, не прости", однажды вырвавшемся у него в особенно горький час, на понятной и извинительной усталости, потому что подлинно "уже не смешно и не страшно — а жалко, что время кончается мусорно так..." А вот нет! Именно Бог в душе, неустанность Его в утверждении света и посреди последней тьмы не дают поэту опустить руки и присоединиться к "похоронной команде", которая унынием или подлой иронией торопится оболгать человека, встречая каждое его падение как повод к новому стихотворному или иному глумлению — "падающего толкни".

Жизнь на земле самым простым порядком своим, где все-таки есть место, научает поэта принимать человека осмотри-

тельнее, не торопиться с приговором: “Я тысячи мотивировок людским поступкам нахожу и оттого бываю робок, когда о чем-нибудь сужу... Я отвечаю на вопросы вопросами и тишиной.” “Робок”, может быть, не совсем то слово — мы уже и по приведенным цитатам видели, что он может кинуться в схватку не дожидаясь мотивировок, но в главном и коренном действительно не торопится, и Тишина вознаграждает его глубиной понимания и тем строительным молчанием, которое дороже слова... “Скрыты, Россия, твои семена — блещет полова! Я разумею, что уходящий от мира сего ЗИЖДЕТ его... И гляжу, и немею”. /Глядит он, разумеется, на русоволосую красавицу, замершую возле Нестеровского “Великого пострига”, будто бы готовую и к собственному искупительному подвигу... Как знать?/ Уходящий — не бегущий, но уклоняющийся от общего стадного пути /в тупик/, хранящий молчание посреди крика и гвалта и в этой своей тишине накапливающий спасающее слово, спасительное знание... Да, поэтическое молчание, свойство весьма редкое, ЗИЖДЕТ жизнь, имеет быть озвученным впрок, а сию минуту, когда совсем иные звуки довлеют дневи, может и не пригодиться. И сам стихотворец тут не при чем, и никакой он не мудрец, живущий в будущем — иное дело что в настоящем мучат его как ту самую “безъязыкую улицу”, те же самые корчи. Несказанное слово мается внутри, бьется и кричит как невыполненное Божье поручение:

*При всем при том
меня гнетет — несделанное дело,
преследует — несказанное слово.
Я чувствую огромную усталость
от жизни — той, не прожитой! — и смерть
приму от НАРАСТАЮЩЕГО ДОЛГА.*

Думаю, что все же, каким-то образом, поэт уцепил и ТУ, не прожитую... И усталость эта — едва ли не блаженная, усталость здоровая, дорогая усталость — свидетельство неуступчивой веры в ПРЕОБРАЖЕНИЕ СУЩЕГО, когда сомнения и тревоги, чуть ли не панические порой, утишены тайным сознанием правильно

построенного миропонимания. “Нарастающий долг” не разрывает сердца, а только подтверждает, как тяжело и горько оплачивается зрелость поэзии и мысли...

*Перегорев, перетерпев душою,
с самим собой, с природою правдив,
я грянусь оземь — дерево большое —
весною поздней, в листьях молодых!*

Именно такая правдивость и придает книге это чудное равновесие, эту зрелую силу и упругость, эту тайную молодость и до слова оплаченную мудрость зряче принятого мира, где ничего не утаено и где сквозь все страдание и усталость, сквозь свои тоски и неприятия, сквозь одиночество, сзывающее друзей в укрепление, все слышится великая русская нота благословения жизни — всего ее обнадеживающего права светить и “посреди сени смертных” и спасти человека.

Валентин Курбатов

*Слезы льются из очей,
Жаль земного поселенца!*

Боратынский





I



МУЗА

I

Где эта грешная обитель
подвальный заняла этаж,
вывешивает вырезвитель
свой честный фоторепортаж.

Хозяйку выманит из дома,
кого попало соберет
многосемейного альбома
столь непотребный разворот.

Застигнутый бесстыжей вспышкой,
дурной, беспомощный народ
в исподнем порванном бельешке
себя позору предает.

Испуг и стыд, недуг и драма...
Но все, униженные так,
во сраме их не имут срама.
А кто судил, не знал, простак.

Идут — глядят — торчат подолгу:
вся улица развлечена.

Вот,

наконец,

душа

одна

проходит мимо —

очи долу

потуплены.

II

Родина, благ твоих я не отрину,
ни твоего откровенного срама.
Но возвратясь, разбивает витрину
вдребезги
эта Прекрасная Дама.

ПОЕДИНОК

Ксении Котляревской

Она одна облагородит
и день и час — десятком слов.
Она ничтожество низводит
с его начальственных верхов.
И вывернуты наизнанку
улыбки благодстных господ...
Ее бы взяли — за осанку
в какой-нибудь 30-й год.
Хоть — за лицо. Хоть — за посадку
прекрасной гордой головы.
За десять выстрелов в десятку,
где в молоко лупили вы.
Вы, прячась в бороду и ворот,
годами жили не дыша.
Но быть должна на спящий город,
где нет мужей, одна душа...
На весь родимый вшивый рынок,
продажам-куплям вопреки...
Какой прекрасный поединок!
Какое благо, земляки!

Кострома

ДВА СТИХОТВОРЕНЬЯ

А. Д. С.

I

АРХАНГЕЛЬСК, 3 ИЮНЯ 1989 ГОДА

Я забылся, хоть не спал,
не видал из-под руки,
как старик свои снимал
стоптаные башмаки,
а когда мои надел,
а свои ко мне пихнул,
я поднялся и зевнул
и на вора поглядел:
— Нет, отец, нехорошо
находить, где не терял,
а наверно, ветеран...
Вздрогнул! Встал он и пошел
как-то боком, шарк да шмыг,
из вокзальных горемык —
стоптанный сороковой,
да и тот, видать, не свой.
И пропал, сутул и сух,
и на головенке пух,
так мучительно похож —
на кого же? На кого ж?

А в гостинице с утра:
— Нету мест! Не будет мест!!
...На того, кого вчера
распинал народный съезд.

II

Невесомый мотылек
гнет цветочный стебелек.
Может быть, толика плоти
есть в пыльце и позолоте?

И кругом летает он
и не делает посадки.
Но опять ему поклон,
и опять ему поклон —

И какие тут загадки?

СТРАСТИ ЕГОРИЯ

Небо иконы подобно огню.
Горы подобны щелявому пню.
Корни — угорья.
Ангел стоит за горою. В горе
нечисть гнездится. А здесь на костре
жарят Егорья.

Он принимает назначенный труд:
вот уж на дыбу его волокут,
вот и в купели —
в черном котле, что кипит не шутя,
варят его —
он глядит, как дитя
из колыбели.

Видя мучители доблесть его,
чудной женою прельщают его,
вынув из вара.
Тут, пролетев, ему зренья затмил
ангел — и мученик наш посрамил
лесть Велиара.

Коник святого стоял и не ржал.
Правый лишь глаз его перебежал
на левую щеку.
Коник печальный все муки следил,
рядом стоял или где-то ходил
неподалеку.

Стерпит, покоен во славе венца,
страсти Егорий свои до конца
повествованья.
Глядячи в небо, дракона сразит,
но никакого не изобразит
лик ликованья.

ВОЗЛЕ СТАНЦИИ ИНЯ

Воздух тесный, воздух мглистый
пахнет мылом и водой.

На пружине на сталистой
между небом и землей —
деревянное корыто.

Лубяная колыбель
белой марлицей прикрыта.

Человеку шесть недель.

Деревянная теплушка,
мокрой простыни клочок.

Стирка — сушка,
стирка — сушка.

Тихий мальчик — грудничок.

В этот полдень, в эту стужу
навещаю я ее.

Почему живет без мужа —
это дело не мое.

Ничего она не просит:

и вагончик не сквозит,

и газетку ей приносят,

и печурка не дымит.

Не посмотрится на сына.

В «монтаже» одна. Давно...

Смотрит белая равнина

в запотелое окно.

Надо мальчику кормиться,

надо сесть ко мне спиной.

Этот воздух материнства,

одинокий и грудной,

этот запах — горклый, кислый...
«До свиданья» второпях.
Эта зыбка на сталистой
на пружине, на стропах.

Где же горе, где обида?
Двери настежь, в горле ком.
Вся равнина,
вся залита
материнским молоком!
Спи, младенец мой прекрасный,
среди бела-бела дня,
среди чудного пространства
возле станции Иня.

РУСЬЮ ПАХНЕТ

Дым вокзальный Русью пахнет.
Без билета на мели.
Над перроном как бабахнет —
реактивные пошли.

Отдалось, прошло со звоном
коридором звуковым,
пылью кислую, озоном
потянуло грозovým...

Человечек в чем-то сером
на скамейке МПС
сам к себе таким манером
вызывает интерес:

чиркнет спичкой — и втыкает
прямо в кожу — ничего! —
стоймя спичка догорает
на ладони у него.

Черные фигурки вдовьи
возникают, как в кино —
дальним планом — на ладони,
нечувствительной давно.

На ладонь и потылицу
не хватает коробка.
Как ежова рукавица,
растопырена рука.

Что же в нем перегорело
за войну ли, за тюрьму,
если боли просит тело,
если все равно ему?

Паленины дух смердящий...
Человечек заваливший
озорно глядит в упор:
хошь еще, давай на спор!

И словесности изящной
далеко до этих пор.

Дым вокзальный Русью пахнет.
Что ни шаг, то край земли.
...Налетит, бабахнет, ахнет,
долго рушится вдали.

БРАТЕЦ

В первом вагоне туман-растуман.

Тащится поезд на Абакан.

Лето — не продохнуть!

Третьего класса народная масса
держит путь

в центры с окраин.

Первый — набит и задраен.

Хоть бы детей пожалели,

еле-еле уже верещат,

ножками крохотными сучат —

тоже ведь люди! —

отворачиваются от груди.

Воздух крут — молоко скисает.

Пятки, как яблоки,

с полок свисают.

Малый до нитки раздет и разут.

Видно, товарищи помогли:

все увели.

Дед, копченый хакас,

в синем тумане махры

не понимает жары.

Третий класс,

волчья сыть,

преет в байке-сатине —

за зиму только успеет остыть...

— Помоги сиротине,

помоги, братка, —

спрыгнули пятки,

заместо штанов — мешок.
— Знаш стишок?
Как меня любили
все, кому не лень,
потом на десять годиков
дали билютень.
Не попадай, братишка,
ты в руки мусорам.
Бьют мягко понаруже,
больно по нутрям.
У их такая гирька
спрятана в пиму.
Не попадай, братишка,
в кузнецкую тюрьму...
...Дождик и темнота,
теплая глина.
Родиной пахнет пихта.
Спит сиротина.
Одеться успел и набраться —
малый фартовый.
Подложу под братца
лапки пихтовой.
Душно. Станция Кача —
глина-трясина.
В тишине заливается-плачет
чья-то глупая псина.

ПАМЯТИ ОТЦА ФЕОДОСИЯ ЧУЛКОВА, СВЯЩЕННИКА НИКОЛО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

Записывает вездесущий Даль:
сгорела церковь старая со звоном,
Сгорел и безымянный тот звонарь,
в огне звонивший... С Богом повезло нам.
Тот колокол лежит на дне курьи
неподалеку от спрямленной Вохмы,
где уши гулом полнились мои —
или безмолвием его — и глохли.
Как будто луговина морщит лоб —
волнуются старинных русел складки.
Их грубо разрубил сплавной прокоп.
В колодах пожни и река в упадке.
Уходит на полдень раздольный плёс,
погост бугрится над крутой излучкой.
Преданье тишиной отозвалось
и заревами над лесной округой.
Одна заря горит над Веденьём,
другая гаснет где-то над Ключами...
Надолго ли в отечестве моем
колокола и песни отзвучали?

Лесами — Юг-рекою — на Двину
ушел крестьянской памяти хранитель —
тебя почтительнейше помяну,
отец Чулков, приходский просветитель.
Небесно царствовать — лежать тебе
обочь дороги неисповедимой,
ослабшему в невольничьей толпе,
на полуночь этапами гонимой.
Несчастных, утешать их нелегко:
вон Сашку розняли с дитенком малым —
ревет и сцеживает молоко,
оставив сына полугодовальым.
— Как звири зимовали-ти, в земле.
Никольский весь этап тогда и выдох.
Христовных прикопаем по весне,
а зиму ходим мимо незарытых...

Вздохнет — не всхлипнет — слез давно уж нет —
 все перескажет ровно и безгневно
 без малого через полсотни лет
 та Сашка — Александра Алексевна.

Прости: село не помнит про тебя,
 а не было души светлей и кротче.
 Враждой кровавой сердце огрубя,
 живем поденною нуждою, отче.
 Темно живем — на небо не глядим,
 для бабы — ферма да чугуи с корытом,
 для мужика — семерка да калым —
 темным-темно, одним-единым бытом.
 Этап твой выдох и приход одик,
 спивается твой сын, из жизни выбит,
 развеян пепел родословных книг,
 давно без купола, пустой навывлет,
 твой гордый храм являет жалкий вид:
 обрушилось бревно череповое,
 расселась кровля... Сколько простоит
 Никола с непокрытой головою?
 А колокол, что уцелел в огне,
 повержен вновь, да с колокольной вместе...
 Мне страшно и помыслить о вине —
 мне только принимать ее возмездье.

В курье гнилой он тонет много лет
 в подушке торфяной — тебя он помнит...
 Нет, он не бьётся головой об лед,
 но пойму влажную собою полнит,
 и почва под ногами — как волна!
 Особенно когда разлив в апреле,
ТОТ ГУЛ ПОДЗЕМНЫЙ выдают сполна
 кривые расходящиеся мели.
 Еще... Еще не раз я замечал,
 что здесь на отдых облака садятся.
 Еще... Он говорил — я отвечал.
 Он говорил: — Избудем святотатца!
 — Избудем.

СВОДНЫЙ ХОР

Ливня не льет великая вода —
сочится из небесных мелких сит.
Олёша мало пьет, но пьет всегда —
как тихий этот дождик моросит.
В печи осина глеет, а в щели
свою свирельку пробует сверчок,
и сыплет мелкий дождичек, или
поласковой сказать, *мусеничок*.
Олёша извинит, что я не пью,
ну, по одной, пожалуй — помянуть
родителей — попа и попадью,
о всех, тогда погубленных, вздохнуть.
Мне надо описать олёшин вздох
порушенной сердечной глубины —
кряхтенье-оханье:
дак ой!.. дак оох! —
как достояние родной страны.
Нет, шутки в сторону: *такой* фольклор
заслуживает пленок или нот.
По крайней мере, некий сводный хор
мне слышится — *так* дышит мой народ.
Никола с переломанным хребтом,
с обрушенными ребрами стропил,
как мертвый кит, темнеет за окном.
Лохмотья крыши дождик окропил.
Близ алтаря шалман и коновязь,
сортира нет, понятно, ну и вот...
Чужим умом однажды соблазнясь,
премного нагнул родной народ...
Ты не мочи, Олёша, в водке хлеб,
женись — продлится род... Отец Чулков
был просветитель, отправитель треб,
политик: одобрял большевиков,
в трактате предлагал им сочетать
Христа и Маркса, дабы жить любя —
за что его и надо было взять
у всей округи здешней, у тебя...

Ты помнишь? Помнишь — четырех-то лет!
Попенок... Как пришибли — так живи.
Понравилось им слово *элемент*,
ты — элемент, хоть смейся, хоть реви!
Отец учил детей и книги вел
рождений и успений — все сожгли.
Коробились листы, и пепел цвел...
Известно было, как произошли
Баданины, Костровы, Шадрины —
их родословье до семи колен.
...И пепел — достояние страны,
и дым отечества, и тайный тлен...
В Никольске был отец еще живой,
на пересылке, но ходил едва.
А где уж там прибил его конвой,
то ведает болотная трава.
Дорогу ту я помню: мы по ней
ходили в любознательный поход
со старшим классом...
Гати все черней,
все каменнее в крепости болот.
Не надо краеведов-знатоков
о многом спрашивать — я не спрошу,
где сгинул мученик отец Чулков,
а только постою да подышу,
как сын его, как все мы или как
болота эти дышат... Вот они
и знают о пропавших мужиках.
Во царствии Твоем их помяни,
о Господи!
Да как же Ты... Дак'аах...

НИКАКИХ ПРОБЛЕМ*И. Дедкову*

На месте нежном и укромном
при обстоятельствах иных
прочесть возможно: No problem
пониже бугорков грудных.
И в милицейском протоколе
записано при понятых,
что все обман и скука в школе,
что всех не переловят их
и что страмить других бы надо...
Но чьи теперь смутит умы
дитя всемирного распада
и всесоюзной кутерьмы?
А вот что сказано в письме:
в моей родимой Костроме,
чье имя славится кострами,
сгорел архив в соборном храме.
Столетий восемь взметено
через замковое окно
за два часа — единым махом!
...И Кострома оделась прахом.
Над городом нависла туча
и, сопрягаясь как мозги,
осмысливала этот случай:
ДА КАК ЖЕ ЭТО ВЫ СМОГЛИ...
Да так... Виновных отыскали:
мальчишки голубков пускали,
проемы не застеклены,
приделы глухи и темны...
Кому нужда в архивном соре!
Как в домне гул стоял в соборе.
Провинциальное звено

в таких делах закалено.
У них-то не горят палаты...
Так с кем же, дурочка, спала ты?
Где протокол? Чорт уволок.
Пришли и смотрят в потолок.
Впервые посетили храм,
похлопали по черной жиже,
вполне бесстрастны и бесстыжи,
как и положено вождям.
Кромешной огненной бурей
здесь выжжен весь
Никитин Гурий.
Что знает горстка пустомель
о славе северных земель?
По саже поскребли: известка...
Ни Бог, ни мир им не судья.
Тому свидетельство — статья
«О воспитании подростка».

1982

З а п и с и**ДРУГИЕ ВОЛОСА**

Не помню сколько было выпито
но мотоцикал завели
с братухой шпарили до вылета
ему хана не довели
а у меня коробка треснула
зато поправились мозги
теперь водярой жутко брезгую
такие паря пироги
мозги мозгами может к лучшему
пошли другие волоса!
как проволока завитучие
сплошные ажно по глаза
теперь башкой амартизирую
накой когда хожу пешком
на выпивку не реагирую
считают паря дураком

Нея

ХОТЬ НА МИГ!

На строительном пустыре,
полуулице-полудворе,
среди вечных недо- и пере-
в глине пригородных Семилук
поломать драгоценный каблук —
сонь и рань матерком стегануть,
золотистый чулочек стянуть,
поплясать на ноге на одной —
да устроить себе выходной!

Лужи розовы и широки.
Из пролета в пролет сквозняка.
Ни семи, ни единой луки —
все кубы-прямики-тупики,
все коробки, а в них коробки.
— Дураки вы и есть дураки! —
разлетались ее матерки,
словно мячики и коlobки,
словно ласточки и мотыльки,
словно зайчики и светлячки!

Погляди, как она босиком,
как размахивая каблуком,
как по лужам бежит прямиком,
да почувствуй себя — дураком,
ну почувствуй себя хоть на миг...
По колено бредет напрямик,
улыбаясь навстречу заре
среди вечных недо- и пере-
на дурацком твоём пустыре!

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

Трудный с воздуха мусорный дух.
Печь не топлена. Пусты бутылки.
Ребяенок полутора-двух
на соломенной голой подстилке.

Что тут, право? Такой кавардак!
И мальчишка зареван. Однако
он кричит — по-карельски, никак? —
ох, по-русски совсем: — **ИДИНАККУЙ!**

У Апостола сказано: Бог
есть начало творенья и речи...
По колено болотный сапог
непотребно торчит из-за печи.

Понимаю... А стужа в избе.
Батька с маткой свалились в одежде.
У мальчишки песыак на губе —
то-то лает! Два года, не больше...

Или проклятой жизни итог,
матерясь, возглашают младенцы?
Батька лезет — поставил сапог...
Ничего не хочу — пячусь в сенцы.

с. Дьяконово

КОНЮХ ВАСЯ

В октябре человек с чемоданом
появился в селе.

Впереди некто, пьян вдрободан,
шел, прикладываясь к земле, —
и до площади храмовой шел я за пьяным.

От густой унавоженной грязи
отрывал я его: — Не балуй, не балуй! И — а — уй! —
Нетяжелого тела и земной органической связи
отрывания звук — поцелуй.

И от конюха Васи
дух знакомый сивушный
до конюшни донесло ветерком,
и приветное ржанье слышалось из конюшни,
а хозяин ни с места — и в глину ничком.

...Поцелуй — звук для слуха разбуженного!
И не зря
перед чайной избой у разрушенного
алтаря

до весны дожидались меня отпечатки
ладоней и лба —
навсегда на сетчатке:
борода и губа.

Пал морозец веселый,
и глина взялась, как сургуч.
Путь просторный на села
от каменных круч.

Оказался крепонек
Высшей Силой поверженный ниц
Вася-конюх, известный кругом «анкагоник»,
персонаж наших вздохов, судебных листов и больниц.
Человек городской, чемоданный,
положение важное это я долго соображал
и — ни трезвой, ни пьяной —
впредь молитве ничьей не мешал.

с. Никола

З а п и с и**ПРО ИВАН ПАЛЫЧА**

— Чо дуришь, говорю?

— А чо дурю?

— Дети будто порыжели — от чо, говорю?

— Не ори, говорит, ай пропало чо...

Али рыжего забыл Иван Палыча?

— Ах ты тварь, говорю!

— А ты алкаш, говорит.

— Покажу те алкаша!

— Покажь, говорит.

— Ах так, говорю!..

— А вот так, говорит.

Нонь у нас с тобой — не контакт, говорит.

— Ух какие, гу, пошли все ученые!

— А, гыт, все вы — кобели нелегченные!

А сама, гляжу, ревет, сидит нахохлилась,
все же мать, как-никак, многодетная...

— Ладно, чо, говорю, тут рассоплилась,
погуляй поди, вон какая бледная.

(Не беда и погуляет — сам себе молчу) .

— На детей, гу, не влияет...

— Не влияет, чу.

— Кабы знать, гыт, как гулять...

Как, гыт, есть — тут и вся.

— Извини, гу, ладно, мать,

пошутить нельзя...

СИГНАЛИСТКА

Для ребенка, солдат, для ребенка.
Лед в углу — оторвалась вагонка.
Не боишься — так спи на полу
(где пуховая наледь в углу).
Жись как жись, хер не жись, а продленка.
На полу уложила... теленка,
подоткнула тулуп — засопел...
Все кивал, да вздыхал, да краснел.

Спит, не спит? Ну да ладно. Покуда
плакать буду, рассказывать буду.
Скорый мчит, подымает метель —
оглушил, закачал колыбель.
Обозналась, терпела подонка —
для ребенка опять, для ребенка.
Уходил, приходил ночевать,
незажившие груди жевать.

Ты же сытый, козел, ты же сытый,
ты же с этой, кричу, ты же с этой...
Со стыда поперхнусь, в пол гляжу —
ничего дураку не скажу.
Припасена ему самогонка,
все надеюсь: отец, для ребенка...
Пей до визгу, а я не хочу,
понужаюсь — треплюсь да шучу.

Завернули за сорок морозы,
леденеют, чуть выступят, слезы,
так что плакать Сибирь не велит,
а румянит тебя да белит.
А не то, как сегодня, — накатит,
заревусь... на всю ночьнюк хватит,
вся опухнешь и ходишь как те...
Спишь? Не спишь? Поднялась на локте.

То и правда, что рвется, где тонко.
А не спит... Ночь ты, ночь, полусонка...
Пожалела его, как дитя,
и отправила, перекрестя.
Все ж не выгнали... крестьянка!
Накормила его спозаранку,
так и на сердце будто ясней...
Уходи, возвращаться не смей.

ПОБЬЕМСЯ, ПОЖИВЕМ...

*Неуступающее тело,
обуреваемое мной.*

Владимир Львов

Опушка леса. Тихо-тихо
поблизости и вдалеке.
В глубоком земляном чулке
прислушивается кротиха:

удары... внятные едва;
ударило — остановилось.
Затрепыхалось... перебилось...
Раз! — пауза, отказ. Раз, два...

Какая тишь в углу родимом!
А сеянец-мусеничок
поляну приокутал дымом.
Разглядывает мужичок

шерстинки — капельную низь...
Ровней, ровнее побежало!
Побьемся, проживем, пожалуй.
НО ТЫ ЗА МНОЮ НЕ ГОНИСЬ.

Попивая коньячок,
худощавый маньячок
всаживает, как дробинку,
в эту женщину зрачок.

У ней коса расплетена.
По улице пройдет она —
и останется за нею
солнечная сторона.

За столом она сидит,
на меня светло глядит,
ничего не понимает —
может, сына мне родит.

... Я бы рад тебе помочь —
простоял твою бы ночь
на коленях перед бездной...

Может, сына, может, дочь.

СУШЬ

А. Величанскому

Который насос производит откачку,
движеньями лапок похож на собачку.

Старательно воду земную сосет
система земных понижения вод.

Квартал деревянный неслышно осадит,
подземную речку отсюда отводит,

кругом наведет сокровенную сушь —
гони экскаватор и домики рушь.

Бестрепетны лица румяных рабочих,
огонь безучастен и ковш неразборчив.

Под грудю хлама сопит самосвал.
Я все это знал и по имени звал.

Я поднял и вынес оттуда немного:
истертую доску чужого порога —

раскосые выпуклые сучки,
тройные подглазья, сухие зрачки.

Тише — глуше.
Песочек, ивняк, берега.
Колея волокуши,
измочаленная слега.

Славной жизни останки:
трудовая война...
И глухая, как в танке,
в бараке гнилом тишина.

Водяные зеленые тени:
малинник в окне.
Не истлели
газеты еще на стене.

Там согласно канона
НА ПЕРЕДОВОМ РУБЕЖЕ
явлен подвиг района —
в сводках, в мутных клише.

Лесозаготовители.
Инвентарь довоенный: «лучок».
Все заиндевели —
а в лаптях мужичок.

Все хохочут:
фотограф попался шутник.
Червь истории дерево точит:
тик-тик, тики-тик...

ОХОТА

Синий-синий зимний день.
Солнце рвется через ельник,
выстилая светотень,
полосатую, как тельник.

Бестолковая лыжня,
пропадай за малягами!
... И всегда эти мужья
путаются под ногами...

Рухнул снег — дымит вода,
две промоины чернеют.
Где же ты? Летел сюда...
Валенки окаменеют.

Я гляжу — и он глядит,
как палит моя двустволка.
Мертвый тетерев летит
низко-низко, долго-долго...

Черен, жив, тяжел, горяч,
в россыпь дивную сугроба
зарывается косач.
Небеса глядят сурово.

Что поделать — кровь не врет.
Пуще каторги охота.
А известно наперед
приблизительное что-то.

Пелус-озеро

ОТДАЧА

Яну Гольцману

Что-то нам, худым и пришлым,
непонятно объяснил
Михаил Михалыч Пришвин:
не гадал — а соблазнил.

Не сойдутся слово с делом:
то мешает, то претит...
Над прогалом поседелым
мертвый тетерев летит.

Ты за ним — вопя и плача! —
попускает же Господь,
чтобы мучила отдача
с той охоты — впредь и вплоть...

Не твоя ли на угоре
лиственница — как струна?
Не моя ли в Белом море
потоплённая страна

в дебрях водорослей ржавых,
в помавании ветвей —
коль причастен сонму правых
сотой долею своей?

ЦЭЛ ЖИЗН

А в кубышке-недавашке накопились имена:
где ты, жив ли, Шилкин Сашка,

батаре́йный старшина?

Деду первогодки — дети. Кто там как живи, а мы
и обу́ты, и одеты, и под праздничек пьяны.

Он разжалован в солдаты и опять произведен
за житейские таланты, за родительский уклон.

Где природное бельканто — Арташес Мартиросян?

Наша пестрая команда строит хлев для поросят,
строит водомаслогрейку. Вай, спасибо за урок —
за топор, черту и рейку, молоток и мастерок!

Хороша твоя беседа в тишине, когда отбой:

— Мой цэл жизн — машин «Победа» и лубов!

А твой какой?

— До сих пор не разобратьсья, джан варпет.

Не знаю, друг.

Где ты, Саша Какабадзе? Где силач эстонец Кург?

Алгирдас, хэй, цвейки, цвейки!

Тэрэ, Кург, Арташ, буриф!

В декабре на маслогрейке вялый трудовой порыв...

Без костра холодновато — жарко будет в лагерях.

Стрельбищем пылят ребята: кто-нибудь,

глядишь, и бряк!

Перегрелся, салажонок? Перестынешь в декабре.

Эх, немало береженных так ли, сяк пере-пере...

Я храбрился: мол, не выдам! Выдали ногой под зад,
списывают инвалидом, даже пенсией грозят!

Пенсий много накопилось с пятьдесят шестого вплоть.

Посылал я... вашу милость, умудрил меня Господь —
подарил солдатский гонор инвалиду без войны.

Наконец, угрюмый донор обескровленной страны,
с целью жизни разобрался, голота и босота,

и поскольку не марался — будет кровь моя чиста.

Крюк, топор. Леса и веси...

Труд мужицкий мне с руки.

Только струйка польской спеси —

не подарок, мужики.

ДЛИТСЯ СВЕТ

В снегу оставили хлысты
багровый колеистый след.
По полю искры и холсты:
февраль, вечерний долгий свет,
брусничный над глухим леском...
Зубастым лучиком-лучком
разделали одну лесину,
кололи мерзлую осину.
Язык ворсинкой уколи,
свет остывающий продли...
Стволы и спины цвета хаки:
— ИИ — ХАК! — прислушайся —
— ИИ — ХАК! ИИИ...
Потом добрались до сосны,
потом нагрелись колуны,
потом солдатики разделись,
похорошели, разорделись.
Пока сквозит и длится свет,
скажу мальчишке — удивится:
— Сладка сосновая живица!
— Тебе виднее, — скажет, — дед...

СЕМЕРО И ОДИН

В. Суховскому

Твои рассказы про ГУЛАГ
душе моей невоготу.
В социализм вращал кулак,
а врос в тайгу и мерзлоту.

На черном севере страны
семь кулаков сидят кружком
и снимали зипуны,
и все присыпаны снежком.

И в мужиках дыханья нет —
они витают в лучших снах.
И лишь мальчишка малых лет
как будто дышит в зипунах.

Высоко выгаял сугроб,
лежит на теплине малец,
застыли все, и нету дров,
и этот мальчик не жилец.

Как поминальная свеча,
он долго теплится в снегу.
Земля уже негоряча,
и как ему я помогу?

И как ему поможешь ты,
покуда милует мороз,
пока по следу теплоты
еще густеет белый ворс?..

Минует время — горе, гнев —
одно минует за другим...
Семь кулаков, окаменев,
сидят над мальчиком своим.

БУКВАРЬ, ГДЕ ЦАРСТВУЮТ МИЛОСТЬ И ЖАЛОСТЬ

*Автору книги «Дитя смерти»
Александру Клейну — с любовью*

Фонарик, зажатый в горсти,
живой, свиристящий динамик,
канаву ему освети,
мигающий в рифму фонарик.

С мигаликом утлым в руке
бредет он, как с детской жужжалкой.
Где сукровица в ручейке,
он вздрогнет и сморщится жалко.

Прозрачного света овал,
прозрачно-промоглая почва.
Угадывал и рисовал,
что видел насквозь и заочно.

Угластые полы плаща,
чужие крыла нетопырьи.
Свобода — каприз палача,
он это усвоил в Сибири.

Свобода — когда в лагеря
счастливчик попал из центра.
На ржавой колючке заря
по воле своей умирала.

Седая под вспышкой трава.
Права человека? Едва ли
важнее они, чем права
губимой невидимой твари.
Воистину СМЕРТИ ДИТЯ,
он думать не может иначе.
С моллюска начнем, осветя
строку перед сытью палачей.

С годами состарился гнев
и жалостью стал нестерпимой.
Но — русской истории блеф?
Но — злоба отчизны родимой?

Как с ними? Составлен букварь,
где царствуют Милость и Жалость.
Но — это собрание харь?
Но — та, Иисусова ярость?..

ВСЯ ПРОСТОТА

Заплачет камень, пепел вспыхнет,
огонь сойдет с листа — и вы,
кого ни в мертвых, ни в живых нет,
появитесь в виду Москвы.

Вспять обратясь в несчастном веке,
вернетесь — до едина все —
как бред: как северные реки
сквозь радиальные шоссе —

в свои бутылки и лубянки,
дворы, подвалы, кто куда,
на подмосковные полянки...

**ИХ МИЛЛИОНЫ! ГДЕ ЖЕ ТАНКИ?!
БЕГИ ОТ СТРАШНОГО СУДА!**

Вам крепі нет. Вам нет могилы:
тому — звезды, тому — креста.
Воистину не вы погибли,
а мы. И вся тут простота.

ЦАРЬ-СВЕЧА

Ю. М. Лужкову

В моем отечестве любому палачу
всегда в достатке памяти и чести.

На Красной площади на Лобном месте
поставить надлежит свечу
за упокой невинно убиенных,
крест высечь в камне и звезду —
два символа и знака сокровенных,
умерить скорбью их вражду.
Равно пригодны для распятия
крест и звезда.

Хоть мертвые, теперь вы братья,
товарищи и господа.

А место Лобное, конечно,
задумано и было как подсвешня
для небывалой Царь-свечи.

Постой минуту.
Помолчи.

КАК ТЫ СЪЕДЕН

*...Потом велит Гапке принести
чернильницу и сам, собственной рукою,
сделает надпись над бумажкою с семенами:
сия дыня съедена такого-то числа.*

Гоголь

Дыня съедена и тыква,
позабыты век и день.
К летописи не привыкла,
не привыкнет наша лень.
Сонное проходит время —
сон родимый — 300 лет —
обнаруживают семя,
и является на свет...

Повстречал я человека
редкого: у старика
всей стеною картотека
высится до потолка.
Скажем, ты в веках бесследен,
канул-сгинул. Между тем
тут известно, как ты съеден,
где, когда, за что и кем.
Почивай отныне с миром,
тут тебе и крест и кров.
Так угодник Федор Тирон
за руку ловил воров,
краденое возвращая —
обращая время вспять! —
нравы отчие смущая:
мол, украдено, и матть...
Вот — известия из первых,
из десятых рук молва...
Сложный путь корней и нервов,
обозначенный едва.
Вероятная отсылка
поплыла через века,

как сигнальная бутылка
с бедственного островка.
Кутаясь в морскую тину —
родовую пелену —
доплывет ужо в картину
к новому Карамзину.
Обомрет душа, оплачет
каждую из наших бед,
часть и целое означает
через триста русских лет.

Ухта

БОЛЬНИЦА. ЛЕТО

Аленушке

Прежде чем повернуть
на дорожку, прямую как плес,
ты глаза вытираешь от слез,
останавливаешься вздохнуть.

Полосатый махровый халат
полноват для его худобы.
Принесла ему виноград,
недозволенные грибы.

И мгновенье одно
испытующе смотрит, как мать:
что больному разрешено? —
и решает не отдавать.

Ты бы рада ходить и ходить
хоть в больницу к нему, хоть в тюрьму
и ребенка ему родить —
ах, когда бы — ему!

Рада кровь в него перелить,
чтоб не мучиться — всю бы в него...
Как ему это знать — и быть?
Не тебя любить — каково?

Чуда Божьего причастясь,
онемели его слова.
Паутинки блистает снасть
и поддерживает дерева.

Пересек муравьиный ход
асфальтированную тропу.
Проводив тебя до ворот,
он глядит и глядит в толпу:

— Спаси тебя, сохрани,
ангел мой... Исцели Христос...
Грех валяться в такие дни:
сенокос...

ПОДМОСКОВНАЯ КЛЯЧА

*Человека такого усталого
Не держи — пусть идет...*
Некрасов

Чтобы о многом рассказать
яснее и возможно кратче,
походку надо описать,
побежку подмосковной клячи.

От Малых движемся Вязем
замусоренным краем-лесом.
Чего же, мать, несем-везем
с таким натягом и развесом?

Шажком немного попойдет,
потом засеменит вприпрыжку —
так на ходу и упадет,
когда откажется сердчишко.

Попробовал ей пособить
и напугал до смерти бабку.
Дождем налита ископытъ
по щиколотку или бабку.

До серого протерся плюш
двумя полосками на месте,
где ерзает тяжелый гуж —
узлов и сумок перевесье.

А вон стоит тебя встречать
дородный малый с постной миной —
сыннок или, пожалуй, зять
с приметой болезни львиной:

над глазками мясной нарост —
как у тебя мозоль на сердце,
как мне не вылезть из корост
некрасовщины...

З а п и с и

Вот какие мне подарки:
рассуждения доярки
о питомицах своих.
Имя — образ. Имя — стих.

Еле-еле спозаранку
выстала доить ПОГАНКУ —
так и не далася, б.....
чует запах, чует, знать.

ДаК со свадьбы! Еле-еле...
Что ей! Думала, не встать...
Лижется моя АВЕЛЯ:
чует запах, чует, знать.

Бела телочка ВАДИМА
(у меня такой Вадим
по два годика ходил,
может, чем не угодила?)

Эта красна. Эта МЕДЬ.
Ну-ка! Эка здоровушша!
Та — АКУЛЬКА — что козлушка,
мелка, не на что глядеть.

ЯСЕЛЬКА... Зову почто?
Знай-поди. Ясель-то нету.
ДУРОЧКА? Да ну про эту!
Не корова — тенето.

Та СОРОГА, что безрога.
Телочка от МЕДИ — ХНА:
дак и модница она,
глянь-ко, даром что корова!

Онега

Прервав застолье и уют,
вбежал и крикнул:
— Наших бьют!

И сразу лица стали краше:
— Да кто кого?
— Да наших — наши,
а наши сдачи им дают.

Все правильно.
Сидят и пьют.

Тогда один уперся в стол
и встал, и отодвинул чашу,
и мир худой и братью нашу
на две свободы раскол.

ЗЕМЛЕЙ И ВЕРОЙ

Памяти Вячеслава Макарова

I

Ортодоксальный идиот, ревнитель правил,
мне во спасенье ДО и ОТ кругом наставил.

Но быть и значить не могли такие знаки:
Вперед! Не по лицу земли — так по изнанке.

Там ветерок небытия дрожит и веет,
там кожа на лице моя ороговевает.

На той, на левой стороне, на черной воле
понадобятся жабры мне иль что-то вроде.

II

Нам вышла ото всех щедрот глухая трасса,
такая жизнь-наоборот, ход Китовраса.

Тот зверь не выжил ни в миру, ниже в природе —
выламывая по ребру при повороте.

Такие темные дела, мой милый Слава.
Тебя достала, пригнала тебя держава.

Прочь от нее, сутул и крив, стезей прямою
ты уходил, асфальт взбугрив, куда-то к морю.

Как не был — ты сошел на нет... Из психодрома
ко мне с приветом твой портрет: сидит ворона

на голове твоей живой... Бери, историк,
картинку в книжку про застой: в больничный дворик

ворона вовсе не на труп летит смердящий —
она летит на шелест губ, на мозг творящий.

III

По обе стороны черты сегодня правда.
Подкинь мне, Славка, черноты из андерграунда!

А в скобках и для знатоков такая справка:
не только Николай Глазков —

на свете есть Макар Славков —
владелец птичьих языков — Макаров Славка.

Ему оставил чистый лист в глуши приютской
эпохи энциклопедист — прозаик Слуцкий.

И Чичибабин обнимал и плакал вроде,
пока ученый кот дремал, кругами ходя...

Я чистый лист беру и просто заполняю
и больше поминальных слез я не роняю

Да будет крепок наш собор земель и верой,
пока вершится их террор, глухой и серый!

ЛЕВАК

— Привет! — ему.

Он: — Сколько дашь? —

Я дверцей хлопнул: баш на баш.

— Катись! — и плюнул.

— Хулиган! —

орет оттуда еле слышно...

Что ж, хулиган... Неладно вышло.

Но мочи нет, как стал поган

полусвободы чистоган,

плодоносящий

пышно-пышно!

70-е годы

ТИП

Совість его,
как помойная яма,
все без зазренья вместит:
каждая мелочь открыто и явно
нетерпеливо блестит.

Каётся запросто, сам сочиняет,
страшный какой он злодей,
топчет себя,
даже в краску вгоняет
виды видавших людей.

Что же он хочет,
чего же он просит?
Есть и покрышка, и дно.
Искренности — целая россыпь.
Исповеди — не дано.

Вынув из урны хлеба кусок,
бабка его завернула в платок.
Кто его бросил и кто оплевал,
я не увидел и не назвал.
Но по тому, как взглянула она,
я ужаснулся: будет война!

70-е годы

НЕДУГ

Душа бы моя желала
видеть еще хоть одну
выходящую вон из зала,
глотающего слюну.
Где услугами секса
пользуется пропаганда,
мне
места
нет — и не надо!
Чистоган — арифметика —
кинопрокат — вал...
— Нет лишнего билетика?
Отошел и сблевал.
Я страдаю почетной
нравственной тошнотой,
как граф Толстой,
ото лжи отлученный.

КЕНЮШКА, АННУШКА

I

Батюшка Елпидифор Иннокентиевич
с дочкой Иннокентией Елпидифоровной,
трое суток, поди, как не кормленой,
у огня земляного сумерничает.

Кенюшка, восьми месяцев от роду —
награждал их Господь одними дочками —
как скворчонок отцу вцепилась в бороду
желтенькими ноготочками.

И назавтра бедному приходится
бороду отпиливать ножиком.
Он в землянку с погоста не воротится,
вспоминать не посмеет о прожитом.

Не споет он, как *шли срока огромные*,
как жена, потом как младшенькая сгасла.
Яму глиняную, два свертка безгробые
днем не взвидит — что ночами навязло.

Иннокентия значит «безвинная».
Каждый год на Покров он пропадает.
Где в тайге полянка тайная, безвидная,
знать никто в той округе не знает.

Скрыт прогалок седым еловым пологом,
и никто не увидит, не услышит,
как он молится, да как взвояет волком! —
а отвоется — лежит и не дышит.

Только Аннушке, только Иннокентии,
тут зарытым, и видится и слышится...
Что расскажется тут? Что напишется?
За душой — всего одно... междометие.

II

Две красы у посада у города
святомученика Парфентия:
попадья да поповна Иннокентия —
обе-две, и годов им словно поровну.

Выступают сестрами-погодками,
все им кланяются — кланяются всем они.
Статью, ликом, голосами, походками —
одного ольняного роду-семени.

Явь неправая снами занавесилась —
уж не кровью красен век истекающий.
Анне-матушке нет и сорока еще,
а уж Кенюшка, гляди, заневестилась.

Елпидифор-свет! Мастер ты матрешечный!
Вся продукция твоя первосортная:
эта младшая-то ваша, четвертая...
КАК ЖЕ СГИНУТЬ БЫЛО ЕЙ, ТАКОЙ-ТО КРОШЕЧНОЙ!

Небыль! Не было такого этапника!
Не дышала мерзлота из-под лапника...
Так и в бане все нашептывает баннушко:
поуникнет первый жар — придет Аннушка...

Парфеньево

ГОГОТ БЕСПАРТИЙНЫЙ

Постарались мастера
немцы либо финны:
обустроили снутра
камушек старинный:

сауна, укромный холл,
при дверях бамбула
на тебя — чего пришел? —
глянет в оба дула.

Ради серед и суббот
омовенья духа
знать бобровая плывет
в сауну-парнуху.

Шевелятся на столе
красные купюры.
Изнывают в алтаре
красные фигуры.

Кочегар, ох, порадел
для святой субботы!
Шлепают в пивной придел,
в расписные своды.

Ох, распаренный словарь,
гогот беспартийный!
Где ты, постник-пономарь,
бормоток литийный?

Слушай, паря, обмирай
с кочегаром-дедом:
ведом Господеви край,
иже нам не ведом.

КОГДА ВЫ ПОНАДОБИЛИСЬ, ВЫ УСТАЛИ

и еще несколько слов
жаркими пепельными устами*
произносит Володя Львов.
Книжка стихов «БЕЗ ОТДЫХА»
в землю вросла как дот.
Дух, взыскующий подвига,
сподвижника не найдет.
Под колеса Истории,
где развезло подьем,
требуются — которые
первыми и живьем.
Вахту несет бессрочную
Слуцкий у гроба —
пряма, как перст...
И приминает обочину
тяжкий Володин крест.
И шепчет он, вечно сиясь
выволакивать и вздымать:
КОГДА ВЫ ПОНАДОБИЛИСЬ,
ВЫ СМЫЛИСЬ,
АЛИБИ ВАШУ МАТЫ!

* Был сожжен в крематории.

ГЕФСИМАНСКАЯ СОНЛИВОСТЬ

Чтобы славная продлилась
жизнь апостолов моих,
Гефсиманская сонливость
одолела их.

Тем же часом легионы
ангелов наготовё
трепетали полусонно
в голубой листе

и в тяжелом полудужьи
плыл Отцовский лик...
Никого не звал к оружию
наш архистратиг.

В голубом и зыбком свете —
как на дне реки —
разметались, спят как дети
все ученики.

Только... Только Иоанна
грудь как будто бездыханна
и чело темно.
То-то и оно!

Сим отмечен гений дивный:
чувствую спиной
взгляд горящий: ты единый
бодрствуешь со Мной.

ОТНЫНЕ — НИКУДА!

Ст. Лесневскому

Поруке вопреки, наследник и участник,
рисуя уголки пятиконечных свастик.

Последний уголок сломил — она как визгнет!
С листа да в потолок! И кружится, и виснет...

Самодержавный знак, разжалован, рассержен,
о стекла бьется, как черноголовый шершень.

Повысунет стрекло, своротит осью мордку —
как микроэнэло шарахнется — и в фортку.

— Назад! — кричу, и, глядь, подобно бумерангу,
звезда на все на пять садится на бумагу.

— Отныне — никуда! — В глазах моих стемнело:
и не поймешь, когда ужалила, успела...

ДИОСКУРИЯ

(Шуточка)

Перепой и недоед обусловили проект
потопления берегов к устрашению врагов,
и народ, умом скорбя, ров изрыл кругом себя,
обороной кольцевой свод сплотил над головой.
Но чудовищный кессон оказался столь весом,
что не вынесли грунты.
Тут и всё бы, и кранты...

Диоскурия не миф, а нормальный антимир:
где живет наоборот трудовой антинарод,
ибо дышит в жизни той жидкой углекислотой,
и немного погода нарождается дитя
с жабрами и в чешуе —
в трудовой одной семье.

Батуми

ДРУЗЬЯМ ТЕХ ЛЕТ

Вл. Готову

Нам было по двадцать, нам было по сорок...
Смолкает наш пафос, стареет наш порох.

Но все-таки Брут обучил нас латыни,
но все-таки жизнь — это память святыни!

Мы были суровы, а стали угрюмы.
Давайте напишем **БЫЛОЕ И ДУМЫ** —

нам память сердечная не изменила
и все похороненное сохранила.

Дворы подметали, капусту грузили...
Одно титаническое усилие —

вот мы.

Вот единый на долгие годы
задержанный вдох. О терпенье свободы!

Юрию Давыдову

Разумный скот
под нож нейдет,
он ужасается! Вот-вот
его сознание озарит,
да так, что скот заговорит...
Его в сужающийся вход
как в мясорубку нагнетают,
разрядом глушат и пластают.
Пока он буйствует и мрет,
проворно внутренности жрет —
чужие и свои — свинья
и кончит жизнь — жуя, жуя!

Сам про себя я знаю брюхом,
что попаду я в зубы хрюхам,
но я горюю не о том,
а вот о чем:
как быть на бойне,
куда мы гонимся гуртом?
Как быть — самих себя достойней?
И что в тебе заговорит,
когда так ярко озарит,
что напоследок напросвет
увидишь собственный скелет
и душу?..

З а п и с и**СКЛАД УМА**

Замри, мой слух,
душа моя, отверзись:
здесь русской мысли высота и дерзость.

— А вот, братуха, я тебе скажу...
Внимание, перевожу.

Тут рифма — осторожно — выстрел!
— Что ты мне скажешь, я давно уж выс....

Так в складе русского ума
жива поэзия сама —

любого умственного положенья
душевное опереженье!

с. Никола

ГРИФ ДСП. ПРОЕКТ ВЕКА

Покуда пьют, покуда спят,
несеянное пожинают,
Онегу-реку гонят вспять
и на равнинах распинаят.
«Антионеги» этажи
гнетут несчастных каргополов.
Окаменели горы лжи,
каких не видывал геолог.
Мордатые трудовики,
кровогазеты и поддаты,
уже ломают Соловки
и сваливают в тело дамбы.
Дрожит Секирная гора,
взлетает к небесам Голгофа...
Нам обеспечена — ура! —
неслыханная катастрофа.
Теперь Онежская губа
заткнулась и распространилась,
по воле плавают гроба,
как бедному Рубцову снилось.
А тот, кто участь разделил
с рекой, лесами, деревнями,
соляркою себя облил
и в чистое облекся пламя.
Не пробудил нас Божий глас,
не вразумил народный вопль...

Но в самый раз рванул Чернобыль
и вскорости пришел Указ.
Он не был этой вдохновен
бедой позорной и безмерной,
но льстил общественности нервной —
«Проект» прикрыт был... и продлен.
И на онежском берегу
приспущен вымпел Минводхоза
(как понимаю, это проза —
я у нее всегда в долгу).

Ослабла правая рука
и в левую переложила
16-ю ПМК,
что каргополов ублажила,
рабочий кадровый народ
перекупая за десятку,
дорогу и водопровод
начальству посулив как взятку
за гибель края... Скажешь — бред?
Ан нет. В райкоме горевали!

«Проект» застрял на перевале
восьмидесятых бурных лет,
и праздных тысячи умов —
немудрено — зашли за разум,
создавши страшных сто томов,
приостановленных Указом.
Гриф ДСП: кубы, грунты,
узлы, урезы, перемычки...

Словарь и дух анатомички:
копаются в тебе, а ты —
а ты живой! Ушли под гриф
болота Лаче, хрящик Свиди...
— Я жив! — ору. — Нет, ты не жив!

Мы живы. Сатана, изыди.

Каргополь

КОСТРОМИЧАМ

Напишем слово через два тире:
оно рычит и охраняет воды
и отчуждает зону ВЭ — ДЭ — ХРЭ
от окружающей ее природы,
равно как от живого словаря
уродливую аббревиатуру.
Здесь воды, осужденные зазря —
гнилое море, розлитое сдуру.
Слилось в обширной камере одной,
как языки, здесь множество течений,
произведя один язык — блатной —
и обеспечив минимум значений
прожиточным десятком матюгов.
Гнилой лиман лежит без берегов.
Какой былины чудо-богатырь,
производитель катастроф и ломок,
в природе произвел такой пустырь?
Аминь, УЗНАЕТЕ ИХ ПО ДЕЛОМ ИХ.
Кто вынес приговор воде: умри,
умри, вода в живоначальных связях,
в самом своем составе, из-ну-три! —
где этот основоположник-классик?
Достигнут водяной полураспад,
и тихо-тихо в сторону гниения
подался вожделенный термояд.
Где этот гений? Не ищите гения...

ПЛЯС

Те в золоте и в коже томы
чудесны и неодолимы,
где писано про черноземы,
про черноземы Усть-Илима.
Покровы *могучестью* в сажень,
каких не ведала Европа,
тучнели для лугов и пашен
тысячелетья до потопа...

И в мире нет мертвее зоны,
чем Усть-Илима черноземы.

На скорбном море разлитом
с подкладкой черною у дна
на палубе, пьяным-пьяна,
отплясывает с кэпом пьяным
бабенка резвая одна.
Она расскажет нам (стихами) ,
что ноги так и пляшут сами,
ну так и пляшут!

В самый раз
и кстати — над бедою смертной,
такой безмолвной и безмерной,
на нас находит дикий пляс...

ШАЛА

Евг. Евтушенко

И вся вода качается,
и вся земля качается,
баржа толчется-чалится —
ни-чо не получается —
как дьявол рвет пеньку!

С баржи кривого ростика
кок-прачка-мать-матросиха
еще конец пробросила,
Онего-море-озеро
наперло на реку.

Как спички кранцы крошатся,
не чалится — не можется,
чудовищные ножницы —
железные борта.

Эх, Шала деревянная,
земля обетованная,
нагоном Водла рьяная
и ветром заперта!

Слова хрипят из рупора,
отходит барка глупая,
на стрежне топляки
по дну, косые, топчутся,
как после доброй стопочки
на свадьбе старики.

Эх, берега обидные!
Болотные-гранитные,
такие беззащитные
низинные они.

Онего ты, Онегушко,
не потопи нас, дедушко,
не осерчай, медведушко,
волну угомони!

П о р т р е т ы

КАПИТАН

Гарию Немченко

I

Перемычка всю ночь фильтровала.
Инженер заглянул: озеро
перерезало дно котлована...
— Сто чертей! — побелело лицо.
И кругом ни души. Где бригада?
Он в контору — там нету. Он сгреб
тех, кто был в коридоре: завсклада,
машинистку... — Куда это? — Надо! —
Бюллетенщицу: — Вот те лопата!
— Что такое? — Однако, потоп! —
Вся конторская пестрая челядь
всполошилась, кто как, налегке,
в самосвал погрузилась, и через
пять минут самосвал на реке.
Лихо ехали, развеселились —
инженер был угрюм и не рад...
Там лопаты уже не годились —
в котловане шумел водопад.

II

Есть минуты, когда инженеры
в полусне словно дети стоят
пред стихией. Минуту назад
принимались решенья и меры —
все пропало! Дохнула она
свежим хаосом, духом соблазна...
И стоит он, и шепчет: «Согласно
уголовному...» Вот тебе на!

III

Так и замерли над водопадом,
а струя тяжела и седа...
Но вперед протеснился завскладом
и: — Внимание, слушай сюда! —

Было кратким его повеленье:
нагрузить самосвал. Что к чему,
непонятно. Явилось явление —
оставалось дивиться ему.
Перед бедствием неминучим
по закону сюжета возник
наш герой — кладовщик, завгорючим,
капитан-отставник.
Не спеша он в кабину садился —
поглядите, с лица как застыл, —
это что еще? — перекрестился,
тронул «МАЗ», на гравийный настил
выбирается, едет, на кромку —
что ты делаешь, выбьет как пробку! —
наезжает — и — грузно в промоину,
руль свернув, самосвал забурил...
Взбеленилась вода! Подождал, закурил,
обернулся — глядит... Хорошо ему!
На подножку ступает — вода по колено,
и лицо его — обыкновенно.

IV

Тут я сделаю паузу, выдох —
котлован не потопит река —
и скажу хоть два слова пока
о ночных сторожах-инвалидах —
о товарищах кладовщика.
На строительствах комсомольских —
вечно жалуются кадровики —
составляют охранное войско
эти странствующие старики.
Ни имущества, ни прописки,
сух и на ногу снова легок,
ветер носит его транссибирский
и на запад, и на восток.
Что за племя! Ни корня, ни крова,
даже имени: просто «дедок».

И причина смиренья такого
молодым никому невдомек.
Все помалкивает, подакивает,
словно памяти нет за душой,
в чай коричневый корку помакивает,
днем приткнется на койке чужой...
Ночь идет, совершается участь
человека с берданкой в руке.
Велика этих кадров текучесть
на колючем сухом сквозняке.
Тело дряхлое в грозном тулупе
свяло, скорчилось. Сыплет снежок
из кромешной невидимой глуби,
засыпает стрелка... — Эй, дедок!
Жив ли, нет?

V

Капитан презирает
ветхий штат подчиненных своих,
им с опаской оружие вручает,
оставляет за полночь одних...
Днем впотьмах он сидит как в засаде,
как в пещере какой атаман,
и в глазах у него «не укради»,
и на бочке граненый бердан.
Кавалер орденов и штрафник,
понимавший атаки и штурмы,
в нашу жизнь, как ни бился, не вник,
где мы с вами умны и культурны.
Вот он бочку ребрастую катит:
— Отцедили солярку... Шпана,
дуцденята! Подушки не хватит —
вам — за мною нести ордена... —
Едет траурная колонна,
и звенящая речь микрофона
по поселку далеко слышна...
Впрочем, это из области сна
и, быть может, шаблона.

VI

Но закончим хоть главную сцену.
Был он жив и хорош — полчаса,
а завидев грядущую смену,
сам пошел на нее как гроза.
Бранью встречной, однако, покрытый,
при народе при всем, на миру,
он хватился движеньем забытым
за невидимую кобуру!
Тут совет разделился во мненьях.
Хоть бригаду никто не хвалил,
посильнее святого знаменья
жест последний толпу впечатлил.
Как уж там согласились в итоге,
я не помню, но долго смотрю,
как шагает он прочь, без дороги,
по изрытому пустырю...

VII

Эти древние гальки и глины
голубыми выходят на свет.
Эти были — еще не былины,
тут еще и поэтики нет.
Но меня поразила — осанки
и пути его прямизна
по отвалам и рвам, по изнанке,
где земля голуба и юна.

НАПРЯМИК

Анатолию Яброву

Горы хлама, конструкции, плиты,
котлованы, траншей кривули.
Человек уходил от обиды
напрямую — не видя земли.

По отвалу взобрался, спустился
и пропал. Вновь на гребне возник,
пождал, полуоборотился,
пошагал под углом — напрямик.

Получилась пунктирная трасса,
ло-ма-ный и ныряющий след
легендарного китовраса,
лудо-коня, которого нет.

Своему прямодушью в награду
человек, оскорбленный жлобом,
обретает конечную Правду
в котловане на дне голубом.

Дивный галечник праокеана,
колыхавшего Ноев ковчег...
Там распластан, лежит бездыханно
улыбающийся человек.

Новокузнецк

А Я ВАМ ГОВОРИЛ

Сергею Яковлеву

Свидетельствует пыль молочная,
что эта балка потолочная,
столетняя тугая матица
в зарубе древоточцем тратится.

Понятно, помогали дождики,
сыреет, сыпется, да мало ли...
Летами жившие художники
глядели — А НИЦЁ НЕ МАЛТАЛИ,

всё подставляли ведра-тазики,
а сверху капало да капало...
Ну академики! Ну классики!
А мудрость, ах, невелика была —

одну прореху залатать...
Треск среди ночи! Грохот! Матгть...

Пришибло бедных, еле вылезли
из-под чердачного хламья...
Всё помыслы у вас да вымыслы,
а тут натура, быть! А я

вам говорил: козявка, тикая,
тугую деревину прочную
преобразует в пыль молочную —
работа страшная и тихая —

так время — слышите? — идет,
и потолок на вас ПАДЁТ,
и сгинете под ним, как не жили.
Который раз твержу вам: ежели...

Лекимозеро

Когда ты меня приглашаешь в *salon élegant*,
то я вспоминаю, что я — костромской хулиган.

Волчата — голодные дети — нам светит тюрьма...
Зеркально-лиловые окна, ковровая тьма,

брезгливая роскошь, как вялая сытая страсть —
на «новую жизнь» не насмотришься отворотясь,

где с ветхим бандитом сидит молодой проститут,
где честь нипочем, где купюрами пальмы цветут.

Мне старую память не тешить, бокалов не бить,
во мне это время чужое, в котором не быть —

старинное *im'me la morte*... Прости и живи.
Война на дворе и телец расторженье в крови.

СТАНСЫ

Что делать? Как что? Пришла весна —
пахать...

В. Розанов

Куда тебя леший несет? Заночуешь в кювете...
Гляжу, как заносит, шибает груженный прицеп.
Сильней вертанет — и хана, и никто не в ответе,
ужо и записывай памятку в книгу судеб.

Районного праздника милое разноголосье,
бутылка причасья, душевный дурной разговор —
ну все понимаю! — и дикий удар в переносье —
за что же?! — и глаз побелелых бессмысленный взор.

На сцене кумач на столе и на стенке личина,
собрание никак не начнут, а домой бы пора,
всё ждут из района, сказали, какого-то чина,
залазит на сцену, ползет под кумач детвора.

Российская поросль, сопливая наша надёжа,
коль три поколения сработалось, скисло, спилось —
такие ребята пропали... Эх, Боже Ты, Боже...
Железо вживили в людей, и оно прижилось.

Речонка в тумане и ранняя рань с косарями,
и росную радугу держишь-несешь на косе.
Что даром дано и чего не искал за морями,
а то, что искал, сохраняется в личном досье.

Безгласная участь какого-нибудь одиночки,
который не мог, отказался, не стал, не хотел,
щербинка в огромной поручке, секунда отсрочки
прямого Возмездья проклятых убийственных дел.

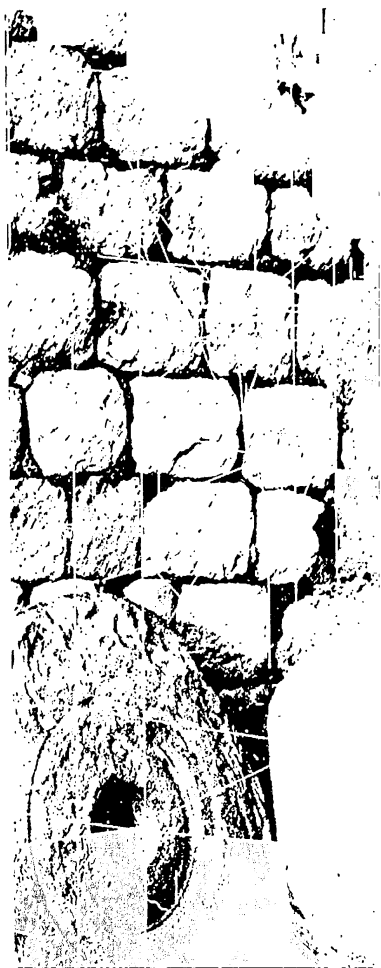
И что же? Тебя стебанет развихлявшимся бортом,
а то стаканом в промежглазье: до дна не допил!
Иль сам ты на-нет изойдешь в одиночестве бодром,
в страницу уткнешься или загремишь со стропил.

Натянем исподки, надвинем рабочие шоры,
не спрашивай, жить для чего и загнуться почем.
Поставил избу — набивай кружевные подзоры.
Что делать, мы знаем с Васильём Васильёвичом.

Играют на стеблях и, вздрогнувши, рушатся росы.
Права человека — долги материнской страны.
И радуга рдеет, и еле дымятся прокосы,
и долгая тень впереди: солнышко со спины.



II



РАЗДЕЛЯЯ ГРАНИТЫ

Наклоненные серые плиты.
Оползание, разлом и разлад.
Кедр растет, разделяя граниты,
как писали лет двести назад.

Корень скручен и в камень завинчен.
Подивились и дальше пошли.
В этой местности корень первичен
и вторична щепотка земли.

Сыт пригоршнею каменной крошки
и летучей росой напоен
стланик скрюченный — рожки да ножки.
А свобода — во весь окоем!

Здесь не камнем, а небом единым
заживем на последней черте —
в яром ветре и в облаке дымном
на летящей во мглу высоте!

ГРУЗИНСКИЕ СТИХИ

Отару Челидзе

Дождем в предгорьях падают минуты.
Умылся камушек, подумал и потек.
Постой внизу и подожди, как будто
виновен в том, что прочим невдомек.

Гора сползает! Шевелятся камни,
угадывая русло-колею.
Держи лавину рас-простертыми руками,
заворожи стихию, как змею.

Кому опять нужда в родной природе
рельефы гладить и черты равнять?..
Как матица в дому, как дэдабодзи*,
ты должен тяжесть встречную принять.

...Уже по шею в щебневом болоте —
оно ползет — я грузну и держу —
я крестенею в тягостном полете —
ищу опору — душу положу...

Сквозь тьму, сквозь веки вижу только Ушбу,
чей лик мне ослепительно сиял...
Где я стоял, я выхожу наружу
и падаю на месте, где стоял.

* Т-образная опора кровли в грузинском доме.

Тринадцать пуль отлей мне,
оружейник!

Г. Табидзе

Лесная родина. Июль.

— Галактион, семнадцать пуль
в груди моей сорокалетней!

Какая жизнь — хоть не живи!

Опять предвестие Любви
всегда великой и последней...

— Какое счастье, милый мой!

Семнадцать пуль... Как жизнь прекрасна
и в час последнего соблазна,
когда достаточно одной!

— Беда, беда, Галактион:

леса горят и сохнут реки,
Ты видел буйный лес знамен,
а я — обугленные дровки.

— Семнадцать раз переживи!

ЦАМЕБА* — помни эти звуки.

Лес — на огне. Храм — на крови.

И всё и вся — на смертной муке.

* Мука, страдание, но с оттенком праведной победы.

ГАЛАКТИОН ЧИТАЕТ

Уже в ветвях черно и голо,
и лес во тьме — или в огне —
и дух поэта вне глагола,
и слышать хрипкое тремоло
уже невыносимо мне!

Твои голосовые снасти
так оттрепало, как листву,
но память жизни, память страсти
на старости — вся наяву.

Я отмолю тебя, омололив
живую рамою — прости! —
но слово — счастьем — переполнив —
не удержать, не вы-нес-ти!

ТАВИСУПЛЕБА*

Узнает всё и переверт
колпак ученый.
Горячкой белой тот помрет,
а этот — черной.

Зажарят одного в аду,
другого — заморозят.
Я постою — я сам уйду.
Его — увозят.**

Я тень — далеко — на краю —
сторожевая.
Нельзя стоять, где я стою —
земля кривая.

А правый небеса коптит —
и нету сладу!
Галактиона тень летит
ввысь — по фасаду.

Чей стыд ты искупил, старик —
и — в небо?³
Семь лет перевозжу твой крик:
— Тависуплеба!

* Свобода (груз.).

** Выдворяют очередного неудобного.

ОЛЬГА

Баллада

Памяти Ольги Степановны Окуджава

Беззвучен и велик,
сомкнулся круг полярный.
В одной из сводных книг —
твой номер инвентарный.
Амбарную найду
шнурованную книгу
и пальцем по-ве-ду —
в число и цифру вниду.

Под вечной мерзлотой,
под молнией моментальной —
прозрачной чернотой
окутана хрустальной...
И в неге, и в тени
росла-произрастала...
— Виновных не вини,
от злобы я устала.

Пророчица пурга
по ледяному полю
сравнила берега
свободы и неволи,
по горло замела
обугленные кочки —
ни цифры, ни числа,
ни инвентарной строчки.

Твердыня — на плаву,
на хлябях Мегиона,
где Ольгу я зову
строкой Галактиона.
Я эту смерть расторг
Одним усилием вольным...
Стынь, северо-восток,
на своде колокольном.

ДЕДУШКА УБИЙЦА

Белле

Он в гостинице швейцарит,
в вестибюльчике царит,
бородой в ночи мерцает,
дремлет — слушает и зрит.

Надзиратель в годы оны
и теперь еще сексот,
отирает фальшколонны,
службу главную несет.

Со своим коллегой в паре
он без дела не грустит
в ресторанном перегаре
в холле бывшей «Мажестик»*.

Утром стоя за хинкали,
тосты дикие шепча,
душу греют, пьют, ракальи,
за бессмертье Палача...

А словесности царица,
проходя у фальшколонн,
— Здрасссьте, дедушка убийца! —
делает ему поклон.

Он отпрянет деревянно:
будто в темя обушком
тот поклон
от Т И Ц И А Н А**
вместе с царственным смешком!

* Гостиница «Тбилиси» в Тбилиси.

** Т. Табидзе проломил череп.

ДЕВА ПУСТЫНЬ

*А у этой летящей бабы
Апельсиновые волосы.*

А. Адалис

На нищем больничном одре
лежала тогда в ноябре —
неловко лежала, как птица.
И образ ее, как всегда,
капризничает и двоится,
как призрачные города
возлюбленных ею пустынь.
Песок и белесая синь...

Крылатое диво сидит
на спинке кровати железной,
и серое око глядит
с тоскою на мир бесполезный,
на сборище дураков —
зачем не дают порошков
забвения! — Гнев и обида!
Презренья и знанья полна,
что будет еще рождена
для имени: Аделаида! —

для новой утробы узлом
старуха себя завязала
и серым укрылась крылом
казенного одеяла.

МЗИА

Памяти Гурама Рчеулишвили

Одни шатильони ушли, а другие уснули.
Хевсуры легли каменеть в каменистую пашню.
Лишь тень Батареки, бессмертного Чинчараули
в селенье спускается с гор и скрывается в башню.

Террасы и башни под снегом. Все пусто и прочно,
и времени вольного некуда деть привиденьям.
В покинутый дом поднимается он еженощно,
влекомый все той же надеждой, измученный бдением.

И так же, как некогда было и будет вовеки,
восходит, восходит и медлит, считая ступени.
И слышит шаги незабвенная дочь Батареки:
стихает, но тихое не прерывается пенье.

Шаги приближаются: это мотив ожидания.
Тринадцатилетнюю Мзию ничто не заботит —
прекрасные звуки на свете все знают заранее:
отец мой любимый, отец, мое солнце, восходит...

Не пил Батареки в ту осень, охотился худо
и кровною местию сердца тоску не утешил.
А дочка поет — он заслушался, будто бы чудо
услышал, увидел впервые, вошел и опешил...

Уступы родного селенья, небес очертанья,
туманноволнистые линии угля и мела
таинственно преображаются в нежной гортани:
дышала — и пела, молчала и слушала — пела!

Так Белла поет... О родное дитя, совершенство!..
Не это ли, Господи, воля твоя в человеке?
Он вынесет муки, но он не выносит блаженства.
Не вынес блаженства суровый хевсур Батареки.

Рука поднялась и ударила — так это было.
А вечером легкое тело он вынул из петли
и сгинул в горах. Но его не держала могила,
и тень на снегу появлялась, темнея и медля.

Светает, светает, и он покидает Шатели,
и смотрит, и смотрит — и светится что-то в проеме...
И кажется, кажется... слышится, слышится... Или
и вправду селенье покинули все шатильони?

ПАМЯТНИК ПИРОСМАНИ*Э. Амашукели*

Непринужденно и легко
такое сходится — взгляни-ка —
ты видишь, как стоит Нико?
А помнишь, как летела Ника?

Дух торжествует во плоти,
как бесконечное стремленье:
— Тварь жертвенную защити! —
он опустил на колени.

Ее спаси — меня прими! —
к груди ягненка прижимает
руками — и накрыл плечьями —
трепещущего обнимает...

Смысл жертвы — жертва до конца.
Грудь — впадина; движение
птицы —
крылами заслонить птенца.
Попробуй — выломит ключицы!

Душа художника горда
и не умеет покориться,
но лучший гений — Материнства —
нас осеняет иногда.

САБУРТАЛО*. СТАТУЯ

Памяти В. Высоцкого

Далеко от милых мест ясна севера
пыльный ветер дует крест-накрест скверика.
Весь пронизан сквозняком вплоть до косточек,
мужичок стоит с мешком, недоросточек.
На чугунной крышке пес мерзнет-ежится.
Мужичок бы рад — померз бы, да не можется.
Не согнуться, не погладить пса облезлого:
мерз ты, мерз и домерз до железного.
Ты постой-постой да уматывай:
нету очереди той для Ахматовой,
перекладины литой — для Цветаевой...
Он кивает, шевелятся уста его.
Свищет ветер пустырей — пыльный, пригородный,
перекрестный, в крестовине сломанный,
и стоит мужик, невесть откуда пригнанный,
из железного из мусора склепанный.
Много правды на Руси — мало мрамора,
обошлись металлоломом, стеклотарою,
чтоб фактура шелестела-корябала,
отзывалася твоею гитарою.
Отчего Сабуртало — слово римское,
да сибирского распева протяжного?
Выбредает из моря Усть-Илимского
лес, потопленный замертво и заживо.

*Новый район в Тбилиси.

От подземельного толчка
дом — как стоял — так раскололся.

Землетрясенье безголосо.
Ему не надо языка.

Все
 содрогнулось
 бьпие —
земля и небо — все живое! —

и помещение жилое
твое

и зыбкое земное
существование мое.

ЕГО СВОБОДНАЯ ОСНОВА

Все плоскогорье — миг единый —
как передернуло его
подбно шкуре лошадиной.
Переглянулись — ничего.

Идем — и пошатнулся снова
зеленосерый Дагестан:
его свободная основа
зашевилась где-то там...

Тропа под нами натянулась,
скала под нами напряглась.
Отроковица не проснулась,
а только потяну-у-лась всласть.

Скала — черна и ноздревата —
вмиг вспылала добела...
Ни в чем была не виновата
несчастливая Махачкала.

70-е годы

АКВАРЕЛЬ

Размытая сиреневая высь.

Три дерева над мостовой сплелись,

и дальний ствол — раздвоенный, кривой —
я вижу — падает вниз головой...

Такая прихоть линий и теней —
и первый видящий повинен в ней.

Отбрось твой глаз, как сказано — и прочь!
Но ничему уже нельзя помочь...

Земля и небо — все во все вросло.
Под акварелью — имя и число:

простерты ветви на ущербе дня
задолго до паденья, до меня.

Вижу: давно идете,
в гору стволы креня.
В вашем добром народе
не хватает меня.

Лес наброшен на горы —
плавной складки руно —
марево — вечный Город —
в городе том — Окно.

Под окном спозаранку
тополь сходит с ума:
вся листва — наизнанку —
и без ветра — сама...

Каменные ступени,
дымные облака.
Здесь, на краю терпенья,
и постою пока.

ТЕРПЕНИЕ СВОБОДЫ

Мне говорит природа,
печаль свою дая,
что есть еще свобода
и в капле янтаря.

Она совсем другая:
крылом не шевелит
и смотрит не мигая
и больше не болит.

Вот капля золотая
в оправе на груди...
Но вечность коротая,
ты не проспай гляди!

О том и речь природы,
что камень
 разольет
терпение свободы,
что вечен твой полет,

хоть велика отсрочка
и хорошо во сне,
пока бежит цепочка
по теплой белизне.

АХПАТ-УРПАХ

Мрачным Господним черновиком
скомкана местность — и целиком
наше ущелье сюда перенес
каменотес эскимос Мартирос.*

Во льду продышу лады:
— Эй! Немота агатовая,
где же вода твоя?
— Да, твоя, да, твоя...
Нету воды.

А мороз!
Глянешь по снегу — ззелено!
Вот расселина, Мартирос —
на кривых ледяных столбах.
Чу, ручей!
— Джурр*, — отвечает эхо, —
джурр! — Урочище это
зовется Урпах**,
что уже чересчур.

Ведь сюда я один
протеснился по каменной трещине!
Было когда-то:
шли от Ахпата
на Санаин —
двое — при женщине.

Ей отслужил,
его пережил,
с вами рассорюсь.
Осиротею, как совесть.

* Вода (арм.).

** В Колымском краю.

Горы —
черно и синё
и красногубые шлаки —
армянские маки...
За тебя, за нее
и за камни Ахпата —
благо мне — плата.

Гаянэ Хачатурян

А Вам, Гаянэ,
подарить я дерзнул
терновый венец.

Когда-то такой же
для Сына согнул
суровый Отец.

Куда же душа
из обоих заветов
упрямо рвалась?

В руках у меня
колючая ветвь
сама завилась.

Забьтсья, припомнить,
вернуться обратно,
беду отвести...

Лазоревый свет —
и начало невнятно
иного пути.

Я рад, Гаянэ,
что увидеть могли Вы
младенческий сон

и грезить о счастье
еще до прилива
кровавых времен.

Примите — он кстати
блаженным полотнам —
колючий венец —

предел, предначертанный
грезам свободным —
начало-конец.

ПАМЯТИ ГУРАМА АСАТИАНИ

Он молодую мне представил
и моложавую жену —
я про себя его поздравил,
хотя подумал: ай да ну! —
уж захлестнет тебя волной...
А что? Естественное дело.

Она еще помолодела,
когда знакомилась со мной.
И сам я чести не ронял...
А он сказал: поехал к внуку.
Я внял, однако, только звуку,
а смыслу этому не внял.
Гурама — внук, жена — Гурама...
Что? Молодая эта мама
еще и бабушка к тому ж?
Не может быть, какая чушь!

И вижу вдруг и потрясенно,
как молода еще мадонна —
та, с мертвым сыном. Ей же ей,
о н с т а р ш е матери своей!
Какое дивное значенье
глядит оттуда! Где мученье?
Улыбка легкая и свет —
Ея лицо — Ея завет.
И мраморное облаченье...
И между слабеньких грудей —
на перевязи между ними —
вятеля почиет имя,
счастливейшего из людей.

В ГОРАХ*Майе Луговской*

В тени полупрозрачной траура
прошла она — не шелохнулась —
и вслед за нею имя Лаура —
хрусталь воздушный — протянулось,

и марево над камнем выжженным
дрожало и переливалось,
и сердце помыслам возвышенным
и скорби женской предавалось.

Носи легко одежду яркую,
не урони гордыню вдовью —
как я легко дышу с Петраркою,
утешенным твоей любовью.

Шуре

О чем же, о чем же? О молнии зябкой,
о некоем плавающем напряженьи,
о той тишине неразрывновнезапной,
о дальнезаоблачном преображеньи.
О том, как ребеночка распеленали
и он не давался ни маме, ни папе,
когда переборки и ребра стонали
у ветхого дома на дышащей хляби.
Выпрастывал крыльшки мальчик нежнейший —
когда распахнуло оконную раму!
Закрывать опоздали — о чем же? о ней же —
влетела и тянется к медному хламу...
Не бойтесь никто — и в немоте полнойшей
вершит милосердье старинную драму.
Задремлет старик, заслоненный газетой —
скамья опустеет в тени бездыханной.
О сумеречной, стариковской, об этой
жестокой Иверии, столь бестарханной*.
О жизни щемящей, сладчайшей и гленной —
я вижу твой шаг неохотный, этапный...
Была эта молния, гостя вселенной,
ночной тишиною, настольною лампой —
обычной, нестрашной — неприкосновенной.

* «Какой-то рынок бестархунный...» (А. Цыбулевский).

СКОТИНА ЧЕЛОВЕК!*Тариэлу Чантуриа*

Не думай по ночам,
смотри на вещи проще:
безродным палачам
всегда нужна жилплощадь.

Скотина человек!
Семейство посаждалось,
и верное навек
жилье освобождалось.

Я доски изучал
поры мемориальной —
мне душу омрачал
их смысл материальный.

Синодик именной,
связующая дата —
год оконча-тэл-ной
победы диамата.

Лиле Браиловской

В рай попал по ошибке —
за грехи и вины —
были отпетые грешники
жестоко потрясены.

Их сердца огрубелые,
оторванные от земли,
ангельского сострадания
вынести не смогли.

Их сердца прокопченные
как печные горшки
от простого участия
раскалывались в черепки.

Наш Создатель воистину
справедлив и велик:
в милосердии, в гневе
и в ошибках своих.

РЕВНОСТЬ

Изольде Орджоникидзе

Страсть бурную твою познал я
корнями моего терпенья.
Твой монолог, пассионария, —
гроза! душа! оторопенье!

Твоя ревнивая укора
меня пронизывает жестко —
на левой стенке коридора
мой силуэт хранит известка.

Твоя стремительная ревность,
покинувшая ускоритель...
Я, «беспринципный примиренец» —
принципиальный примиритель.

И я тебе не прекословлю —
но оставляю человеку
надежду, веру или кровлю —
и твердь себе — и хлябь ковчегу.

Спасутся — худший или лучший —
покуда трапы штормовые
опущены на всякий случай,
на ваши страсти роковые.

Ковчег тяжел и неразборчив.
Отец не топит сына Хама —
и вот исток всемирной порчи
и в праведном семействе — драма.

ДОВЕРЬСЯ СЧАСТЬЮ

Здесь переедем-перейдем,
где смерти грозные владенья,
вниз поглядим — и страх паденья
на мужество переведем.

Орлиный отрешенный круг —
свободный перевод рельефа,
и взгляд возвышенный — и с неба
в тебя вперяющийся вдруг.

На дерево взобрался плющ,
гранит посеребрили слизи —
они повинны в буквализме,
который столь им при-со-сущ.

Ты многого еще не знал.
Доверься счастью, брось поводья:
сию минуту в переводе
рождается оригинал!

Зима — над нами высоко,
а здесь весна — сырой подстрочник
ручьев, ростков, снегов непрочных...
— Я вижу осень, дзамико*.

* Дружок (груз.).

ПЕРЕВОДЧИК, СЛОМАЙ КАРАНДАШ

Кари крис — кари крис —
 кари крис* —
не умеешь — и врать не берись.

Переводчик, сломай карандаш:
перескажешь — размажешь — предашь.

Этот подлинник неуследим.
Подвиг — подвигом переводим.

* Ветер свищет (груз.).

ВЛИП

С чего-то вспомнилась Алма-Ата
и переводческая маята,
мой ранг и чин: я — личный переводчик
такого-то. И легкого креста

пустяшное щекотное давленье
на холку и на левое плечо,
и местных классиков благоволенье,
и в дикий сад окно... И вот еще

что вспомнилось — я бы хотел,
чтобы корова языком слизала
такую память — продвиженье ТЕЛ
колоннами
в ряды,
усаживанье зала,

вставанье, плеск, «ура!», подряд раз пять
при имени Динмухаммед Кунаев —
и гость для уважения хозяев
встает как по команде ВСТАТЬ.

...ВСТАТЬ! — и стоит бакинское застолье.
СЕСТЬ! — и оно садится. ВСТАТЬ! — встают.
СЕСТЬ. А теперь — шампанского: САЛЮТ
Багирову!.. Такая предысторья.

А был ведь поэтический Олимп,
был Антокольский... Ну а я-то влип...
И с той поры скрипят мои суставы.
Забывать бы рад — но этот жалкий скрип...
ВСТАТЬ! СЕСТЬ! ДРУЖНЕЕ: СЕЛИ! ВСТАЛИ!

НАБРОСОК

А. М.

Что послужит истине? Вопрос.
Ничего не жаль и все равно.
Короткоостриженных волос
черносеребристое руно.

Ей послужит очевидный вздор...
Изумленно брови возводя,
к небу обращает синий взор
это иудейское дитя.

Я молчу, пока мы говорим,
из Тифлиса попадая в Рим:
Цезарь умирающий стыдлив —
видит Брут, что был несправедлив.

Этот ум причудлив как звезда,
обольстителен и остранен:
должен быть — от вящего вреда —
гений Сартр на площади казнен.

Тут я думаю, что он и сам
осужден по нескольким статьям,
но его щадят, и как тут быть? —
продолжают все-таки любить.

Что поделать, я люблю его!
В нем к пересозданию всего
воля чудная и грешный зуд —
но его слова его спасут.

Хороши и выход и прыжок:
время — Рим, и мишура в чести...
Был строчной* огонь — прошел, прожег —
душу через смерть не пронести.

Так и вижу из моих степей,
так и знаю, что рожден рыдать
о моем народе — иудей.
Не сбывлась такая благодать.

* «Прицельным — пачечным — строчным...» (А. Межиров).

Фазилю Искандеру

Пловец, который плавает с умом
и любит штормовое многоборье,
из моря выходя, в себе самом
и на себе самом выносит море.
Хорош, но чем-то неприятен мне
летающий на волне и по волне
скользящий — так владеющий уклоном,
что выскочит сухим и несоленным.
Зато воистину прекрасен тот,
кто с мальчиком слабеющим плывет
к береговым чернеющим отрогам
и не интересуется итогом,
затем что абсолютный интерес —
дыхание... движение... мгновенье...
покуда свет сознания не исчез,
пока внимательное вдохновенье...
еще... еще немного... А потом —
и ты мое Евангелье продвинул:
разделался с тем трусом и скотом,
который лодку вашу опрокинул.

ВЕРХОВЬЯ

Отару Челидзе*

Река по трещинам и сотам,
по лабиринтам, жилам, гротам
сочится с ледяных высот
и вырывается к воротам,
где имя славное берет.

Щебенкой грубой селевой
базальтовый зубец обглодан
и отливает синевой,
не свойственной таким породам,

и надо рассказать про ту
континентальную плиту,
пропарывающую полог
позднейших лавовых пород.
Н. Н. Герасимов, геолог,
мне объяснял: плита плывет...

Не здесь ли край подземной льдины
зубцом выходит изо дна?
О чернобелая страна,
где обе тверди столь едины!

А это спящее село
к обрыву близко оползло —
его таинственная сила
подвинула, поворотила,
но жителей не разбудила...
С друзьями мне всегда везло.

* Написано при его жизни. Я перевел столько стихов Отара, что мы породнились. Нет его, не будет меня — родство останется. Духовное — надежней иного кровного.

Вся Рача Верхняя вполне
проснуться может Нижней Рачей
и дальше плыть на плывуне
и зыбко называться Качей.

(В Сибири есть такая хлябь:
на тарантасике проехав,
туда едва не канул Чехов).
...И столь едины крепь и слабость.

И надо вникнуть как-нибудь
в геологическую суть
всей нашей смуты и бесчинства —
Бог даст, и вникну и пойму
в наследственном гнезде, в дому
Отара, славного рачинца.

И вот, когда на третий день
селенье сдвинет набекрень
понятная вполне причина,
Отар мне скажет: ты мужчина,
всегда стой прямо — хоть стремглав,
и весь тут сказ. И будешь прав.

НА БЕРЕГУ

Я насчитал в ротонде
четырнадцать колонн.
На синем горизонте
дремали: слон и слон.

Потом один улегся —
растаял без следа.
Другой потек-повлекся
неведомо куда.

А катер развернулся
на малой глубине
и чуть не пер-вер-нул
на собственной волне —

однако не желая
такого ничего...
и баржа пожилая
гуднула на него.

Она прошла сутуло
с песком и кирпичом.
Она уже тонула
и знала, что почем.

Я ждал тебя примерно,
потом ушел — совсем.
Все правильно, все верно,
как наши дважды семь.

МЫС ШАЛЯПИНА

И я с последнего приступа,
откуда ласточкой лететь,
гляжу на лодочку-скорлупку
и начинаю холодеть.

Противно засмеялся отчим,
противно страх меня ожег.
Я слез и понял: мой должок.
Мой долг... Кому? Неважно, впрочем.

Назавтра, чуть живой, понурый,
один, опять наверх: плати
за страх, плати живой натурой —
и с мыса ласточкой лети...

И снова — сполз тропинкой скальной.
И — влез опять. И ОДОЛЕЛ
страх смертный (экзистенциальный) —
хоть и солдатиком летел.

Гурзуф

НИКА

По волнам бухты
скачет скутер,
и встречный ветер —
лучший скульптор —
единым замыслом объял
на свете лучший матерьял!
Одним порывистым усилием
всю обозначив — без резца —
от голени и до лица —
всю — обдает соленой пылью! —
обдаст и насухо опьет,
и замирает на мгновенье,
и собственное вдохновенье
в богине мастер узнает,
и выведя Никии крылья,
весь отлетает — душу вылья —
не оглянувшись, на простор,
у пирса
вырубив мотор!

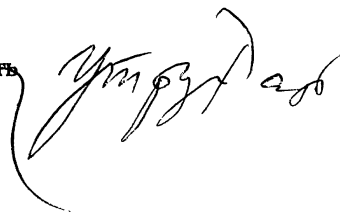
ПОЕЗД МОСКВА — ТБИЛИСИ

Б.О.

... Я говорю, а он не слышит,
не хочет знать, что есть вина —
вина, которую не спешит
и ни любовь,
и ни война.
Он исповедует Природу,
он вам любой отпустит грех...
А сам гуляет по перрону,
а белый зной —
как белый снег.
И белизны не затмевая,
одолевая годы вплавь,
сны золотые навевая
на вашу боль,
на вашу явь, —
он так плывет и тянет ногу
как дромадер через пески,
а сколько сам — известно Богу —
влачит любви и тоски...

Пльиви, Булат, корабль пустыни,
в тебе такая благодать,
что при тебе нельзя
пустыми
словами
душу удержатъ

Харьков



ИЗ АЛЬБОМА

Георгию Маргвелашвили

Видел я Каргополь нынче и Петрозаводск,
Питер и Оренбург, Кострому и Калязин,
алмаатаюсь по свету, и нет мне опоры.
Нет — как дифтонга воздушного «и-а», чтоб мог я
Гиа сказать, Гиинька, домосед мой счастливый!
Ты себе дома, и крепки твои бастионы
рукописей, корректур, запыленных подшивок...
«Книгу в себе» ты умеешь ценить, прикасаясь
пальцами бережно к авторской подлинной правке,
к детскому почерку: о! лепетать, о цхинвали! —
белую папку одну разрешив от тесемок.

Третий этаж, и звонок — наконец! — и объятья,
и ритуальные танцы, и пухлые ручки
к небу воздеты, и прыгает Лялька, и Джанка
лает и лает, и монументальна Этери,
как дедабодзи, держащая Дом крестокрыло.
В этом триклинии грузинском теснятся картины,
книги, растенья и камни, и — вечные гости —
в комнаты входят с балконов лоза и глициния.
В этом дарбази античном гостят олимпийцы,
ликами — вполоборота — из тьмы выступая.
Додик Давыдов, наш Рембрандт, снимал их, но если б
преображенные Додиком оригиналы
вдруг собрались — не избежать бы нам потасовки.

Мир вам, которые живы, и царство... Но царство —
в воздухе дома сего: замирание звуков
благоговейное, этих камней и растений
позы, и возникновение звуков, и ликов
этих вниманье — и все тут внимает и внемлет
некоей чудной стихии... Но страшно за Гию:
так незнакомо лицо и уста побелели,
бездной какой-то охвачен, последним блаженством,
на волоске его жизнь... Длится пауза... — Белла,
гениалури, — прошепчет, еще не очнувшись.

Беллину книгу держал я, как Вацлав Нижинский
Павлову Анну, и это — вина режиссера.

Бисерным Гииным почерком: «Павлову Анну —
Вацлаву ...» мне.

Белла, Белла! Балет наш окончен:

сцена в крови, сорван занавес, обе кулисы —
два сопога исполинских, великодержавных...

1977—1989

ОТРЫВОК

Приход и служба захирели,
пообветшали муляжи,
но две свечи для них горели
и золотили витражи.

Их миновал обряд венчальный —
весь этот вышедший в тираж
сакраментальный и сусальный
альяповатый антураж.

Но всею ясностью итога
и болью пятого ребра
дана была ему от Бога
духовная жена-сестра.

К его ознобу, к тайне детской
теперь примешивался лоск
гордыни дзядовской шляхетской:
где надо, там отозвалось!

Не можно жиць без отголоска
погибнувшего бытия...
Она ж — хотя б едзина сльозка
глаза увлажнила ея!

А ты, бесхитростный ваятель,
чья так плачевна и бледна
раскрашенная Богоматерь —
твоя вина, твоя вина...

МОНОЛОГ

Светлой памяти Тэдо Бекишвили

Я в эти игры не игрец,
надоедает, наконец:
блефует автор круглолицый,
а изможденный угло-лицый
его лирический герой
пластает крылья над Курой —
с собой поканчивает бодро —
иль пригвождается к кресту...
Мартирии такого сорта
глотать уже не вмоготу.
О чародеи, бугафоры!
Они с подошв срывают горы
и громоздят их как хотят,
и тигров душат как котят,
и поражает слабонервных
смешенье чувств невероятных,
столпотворение имен —
то Саваоф, то Соломон...
Кого-кого там только нету —
и все за звонкую монету!
Как посадить хоть одного
от сих румяных и дебелых
до эмпиреев черно-белых,
где место свято и мертво?
Где жив Спасителя завет
и доблести не прекратились,
откуда столько-столько лет
они так радостно катились...

СИНЬОРИНА ЗВУКОЗАПИСЬ

Благородно черны бриллианты
и платочки пока не мокры
и слегка притушили гранаты
неуместную алость игры.

Соответственно строги костюмы,
черны платья, вуали темны.
В ту же меру мужчины угрюмы,
в меру женщины удручены.

Только в чохе малиновой горев
в этот чин затесался спроста,
да неистовый Бах смертоборец
слишком резок: кассета не та?

Но сеанс музыкальный оплачен,
смерть богата и как бы ничья.
Мой послушный словарь озадачен:
синьорина Пьета? Плачя?

В самом деле, подобна мадоннам —
и еще характерней иных —
эта девушка с магнитофоном
на коленях своих молодых.

— Калбатано*, скажу, Звукозапись,
в этом чине чужих похорон
вы — какая-то новая завязь
наступающих странных времен.

Вместо радужной нежности в коже —
алебастровая белизна.
Или к смерти вы запросто вхожи
и прохладная кровь не красна? —

*Госпожа (груз.).

Далека от кассетной печали,
из-под длинных приспущенных век
Звукозапись блеснула очами:
— Вы не в курсе, чудак-человек...

Закопают — придем на келехи*,
все изменится — колер и тон,
непременно дойдет до потехи,
если явится — кто погребен:

«Звукозапись, врубай Мендельсона!» —
и посходят с ума, кто не знал,
что в гробу восковая персона
и живехонек оригинал!

Подерутся противные кланы,
поделенные на два стола.
Если будут смертельные раны,
я бы тут же заказ приняла...

* Поминки (груз.).

ТОСКА ПО ВАЖА ПШАВЕЛА

Еще озарена голубизною фирна
творенья сторона, которая надмирна.

Еще голубизна сочится ручейками
на Ахиелу, на Шатели, на Чаргали.

Морозный воздух чист, ущелья гулок раструб.
Целы кинжал и хлыст, топор его и заступ,

орлиное перо, мемориальный пепел —
музейное добро... Там никогда я не был.

Но знаю я о том и как бы вижу даже,
как действует хлыстом великолепный Важа —

чтоб руки не марать и пороха не тратить...
Как жить и умирать, поэт учил собратьев.

Не научил. Не впрок пошла его наука
скупых высоких строк и топора и плуга.

Лишь слышен до сих пор глагол суровой правды —
свергающей с гор родной его Арагвы.

Лишь держит на весу атлантово терпенье
альпийскую красу, разор и запустенье.

Ржавеют репера в расселинах базальта:
где лед сверкал вчера, проглянет камень завтра.

Громада уползет вспять ледяною лавой,
людской покинув род, злотворный и лукавый.

Шуре

Мальчишеский голос чистейший,
мальчишеский голос поет
про то, что погибнет сильнейший, —
поет и вздохнуть не дает.

И песня меня усыпляет,
и старая длится дуэль:
поверженный в небо стреляет,
а небо — хорошая цель.

За что же — родного — роднейший
оплачет, оплачет — убьет?
Зачем погибает сильнейший?
Зачем этот мальчик поет?

И тихо поет он и грозно
Про то, что нельзя воскресать,
про то, что напрасно и поздно
прохладные локти кусать.

Смолкает пронзительный голос —
молчи, заклинаю, молчи.
Смолкает, как плачущий полоз
в морозной просторной ночи.

70 — 90

... Народные денежки!

А. Солженицын

Гроза очевидная и безнадежно сухая
подходит и топчется, глухо ворча и перхая.

Без ветра, без ливня гроза — без лица и поступка.
Гроза без грозы — утомительная душегубка.

Не эта долина, не эта зазубрина Грени —
темно и повинно такое бездарное время —

вся эта усталая и безнадежная мякоть,
от коей так хочется пить и не можетя плакать.

...Я жил на задворках, покуда гремели застолья,
где славили — ныне поносят — эпоху застоя.

И вечно они веселятся и пьют *на чужое*
и хаюто что надо и славят как надо — с душою...

Страна опустела с войной. Краснобаев орава
гуляет теперь по Руси, эх, гуляет халява!

ТЕМ, КТО СТРЕЛЯЕТ

Как тот альпийский мак, по прихоти метафор
цветет крошечный мрак и полыхает траур.

Цветет на память зла, враждой дурных и сытых —
до гибели, дотла — на известковых плитах.

В бесславие резни не надо углубляться —
на родину взгляни Давида Какабадзе,

на летние поля с орлиного полета.
Чернее, чем земля, сидит вполоборота —

имеретинка-мать, от горя камня.
Не вас мне понимать — а горевать мне с нею.

Я вашей дурью сыт, но от несчастной скрюю,
что сын ее бандит. И честь воздам герою.

Скажу: в раю он спит, как на твоих коленях...
Как черное слепит на мраморных ступенях!

СВЕТИЦХОВЕЛИ

И это — клин,
который длинн
и оттого певуч,
который в небесах плывуч,
как старый цеппелин.

И клинопись моя стара,
летуча и легка,
и восьмиклиние шатра
свела одна рука.

Там узко устье, тесен свет,
в который я влюблен,
которым во мгновенье лет
я был испепелен.

НА ПОЛЕ КРАСНЫХ МАКОВ

Не надо задавать бессмысленных вопросов.
На море ни следа, ни тени на песке.
Испанский галион, обуглившийся остов —
на поле красных маков, от моря вдалеке.

Когда он был и плыл? Когда воздухоплавал,
на ярких парусах ныряя в облаках?
И Бог его призвал — и не покинул дьявол.
И посуху он полз на слабых плавниках.

Потом его сожгло безмерное терпенье,
и маки подошли к обугленным бортам
и выразили вдруг чудесное волненье —
как свойственно цветам, единственно цветам.

Любови не избыть — и он плывет и правит
за каменный венец — зубчатый окоем.
Любови не избыть — и сердце умирает
в горах и облаках, во времени твоём.

Кире

Метель в печной трубе
завоеет о тебе,
и глаз, посаженный во лбу,
увидит всю твою судьбу.

Переплетаются пути.
Мне ничего не надо...
Светает около пяти,
и с гор летит прохлада.

Ты

тихо

впереди,
 левой
иди — в той кофточке твоей,
салатовой и зябкой,
заколотой булавкой.

Иди, светись, как лепесток.
Пылает поневоле
повернутое на восток
маковое поле.

Светись,
пока священный ток
не причиняет боли.

Сердце без меры упорное,
все перетерпит, любя.

Тронется озеро горное,
мирных долин не губя.

Дрогнет зарница — не режется.
Вспыхнет — померкнет опять.

Кто-то не может утешиться,
слез не стыдится унять.

Только свобода страдания
этой душе суждена.

Облако дальнее-дальнее,
северная сторона.

ДВЕ МАТЕРИ

(из грузинского фольклора)

В крови лежат тела
охотника и тигра.
Как тень к ним подошла
седая кахетинка.

Потом спустилась с гор
старуха-мать-тигрица.
Их слезный разговор
тысячелетья длится.

И озарен карниз,
где всех родней и кровней
два горя обнялись
над гибелью сыновней.

Сюда Гомборский лес
восходит неустанно
и бьется об отвес
гранитов Дагестана.

И только ковыли
да траурные маки
на тот карниз взошли,
где ни земли, ни влаги.

Отсюда с давних пор
горючими слезами
ручей сбегает с гор
к широкой Алазани.

ПЯТНАДЦАТОЕ ПРОШЕНИЕ

А. М.

Звучат сквозь чад весенний
под клиросом в тени
четырнадцать прошений
Сугубой Ектеньи*.

Мы поднялись на Джвари
во Вторник на Страстной,
и полдень был в ударе —
с искрой и сединой.

Стена течет: песчаник...

Еще не глубоки
веков первоначальных
рельефы-желобки.

Веками отрывались
частицы бытия.
В запасе оставались
тысячелетия.

Остаток — наш задаток.

Ты сед и синеглаз,
на фоне желтых складок
застигнутый ан фас
с нечаянной улыбкой,
с текучею стеной —
за пеленою зыбкой,
воздушной пеленой...

Та именная пленка —
прозрачная броня —
ни старца, ни ребенка
не скрыла от меня.

И самое бы место,
пока момент ловлю,
сказать тебе словесно,
что я тебя люблю.

* Строфа Межирова, подаренная мне.

Но это — на бумаге,
лет через двадцать пять...
Назавтра вспыхнут маки
и склоны окропят.

И дрогнет вся Страстная
Крестовая Гора.
На плитах тень резная:
тут стужа — там жара.

«А к постригу готовы?»

Я отвечаю «да»,
рожденный для простого
повинного труда.

Базилика над кручей
размером в коробок.
Такую — может, лучше —
и я сложить бы мог.

До верхней седловины
верста — подать рукой —
там подвиг мой повинный —
свобода и покой.

Подъем на Зедазени —
по тропам за полдня —
лет двадцать пять, не мене,
потребуется с меня.

«Ты угадал, о Равви.»

А пьяница-амкар,
последний Моурави,
поможет мне Нодар*.

Нодари, труд оплачен...
Нодари, я приду
вдавиться лбом горячим
в шершавую плиту...

Четырнадцать прощений?

Кто может — тот проси.
Моих мне прегрешений,
о Боже, не прости!

* Названный мой брат Нодар Тархнишвили —
поэт, переводчик, царство тебе небесное!

ЕНИСЕЙСКИЙ ГРУЗИН

Любезный сердцу генотип!
Хоть нос твой в первом поколенье
хакаска-мать укоротит,
но в третьем, всем на удивленье,

ту седловину взгорбит хрящ,
а глаз, мерцавший в щелке, в пятом
весь выскочит, круглогорящ!
И назовут дитя Багратом.

В крови раздор и непокой,
живые струи неслиянны —
и с кахетинскою тоской
глядишь ты на свои Саяны!

Ты вниз уплыл и там осел.
В седьмом — по тундре ты размазан...
Что ж так неласков Енисей?
Уехал бы... ах, не к хакасам!

В девятом — крепкий автохтон —
примчишься на санях в Дудинку
и в сумраке, как мех, густом
увидишь — деву кахетинку!

НА КАМЕННОМ ПРИГРЕВЕ

Здесь только ночь и день — ни вечера, ни утра —
и свет горяч, и тень черна, и время круто.

И солнечный ожог на скулах неизбежный,
и тени впалых щек с голубизною нежной.

Пробил скалу родник на уровне метафор,
и в синеве возник голубоснежный капор...

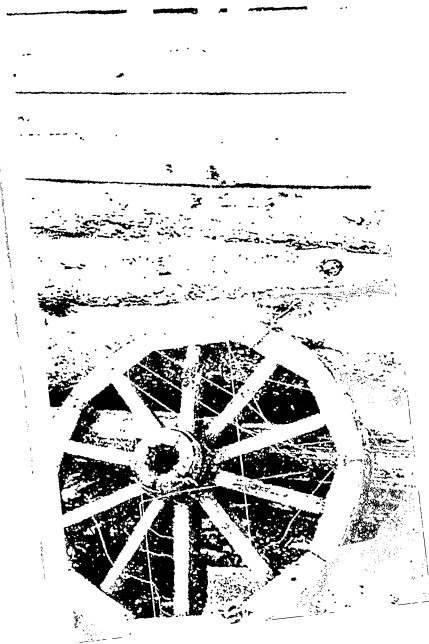
Не плетью, не мечом — лишь девственной улыбкой
да крестиком крещен, что из лозины гибкой,

край, отданный в удел Святой Марии Деве.
Уснуть бы я хотел на каменном пригреве,

где рвется горизонт слепой, светообильный,
где стелется, как сон, живой ковер ковильный.

Не знаю испокон я лучшего притина...
Где осенит на сон меня Святая Нина.

III



Через поле, через лес.
Поднебесных и плакучих
елей сумрачный навес —
и никто мне не попутчик.

Тесны тропы бытия.
Топкая глухая хвоя.
Дебря Нижняя моя — *
все наследство родовое.

Уцелел, на счастье, лист
рукописи стародавней —
озарен, глубок и мглист
темный свод родных преданий.

И роднее всех святынь —
невзначай в избе крестьянской —
наша гордая латынь —
кровь моя и смысл славянский.

Ничего не запишу —
позабуду без заботы.
Хоть умру — а продышу,
продышу — до той немоты.

* Нижняя Дебря — улица в Костроме.

ИМЯ ПРАДЕДОВО

Нет ни кликов, ни откликов,
течение неколебимо.
Прадед мой был Василий Облаков
из Любима.
Сиротеют потомки:
против времени кто ж пробьется?
Огонек на потемки —
имя прадедово остается.
Так блуждаешь — долго да около —
жребий русский.
Был ты Облаков —
стал Боголюбский.
Припаду ли когда на паперти
к твоему надгробью?
Я, обязанный матери
сильною кровью,
между мусора прусского
и родимого благосвинства
пе-ре-нял жилу русского
духовенства.
В эту жилу вбежала
и запенилась кровь отцовская:
Там Мицкевичи, там Варшава —
воля польская.

ПЕЧАТЬ

Двенадцатый мага́зин, где прилавок
лоснится от прибо́я хлебных давок
и лязгает в пазу лучковый нож.

Прилипло к пайке лишних полдовеска.

— Назад положи! — горланит хлеборезка.

— Беги! — Держи его! — Оставь, не трожь...

В ногах толпы, в шатучем полумраке
приземистые скользкие собаки,
авоськи и мешки,
безногие фронтовики,
хрипатые, с распухшими зобами —
кто действует локтями, кто зубами —
галoши, голенища, лапотки.

Что скажешь, лейтенантик руконогий,
обрубок безнадежно одинокий,
все растерявший, даже самый страх,
митинговавший возле винных стоек,
покуда спал Господь и лгал историк,
ты, в одночасье втоптаный во прах?

Что скажешь ныне? Поделись судьбою:
в каком углу покончили с тобою,
как скопом ликвидировали вас?
Как заработал голубиный всас —
изобретенье мысли санитарной —
живьем сосавший с площади базарной
всю вашу стаю навсегда и враз?

И амба! С добрым утром, милый город...
Но шарикоподшипниковый грохот
не глохнет над базарной мостовой,
еще смягченной грязью и навозцем.
Перед калекою-орденоносцем
мальчишка-я на площади Сенной.

И он, навзрыд, внушает мне, как мерзко
сверкать чулочками из фильдеперса
и пьяные приказы отдавать,
как все мы преданы бесповоротно,
И МЫСЛЬ ЕГО БУЛЫЖНАЯ НЕРОВНА,
и он, взмахнув толкушкой — в жись и в мать! —
влепляет в грязь возмездия печать.

Кострома

В Калязине душном шиповник цветет,
в Калязине влажном высок и опасен
разлив подземельных блуждающих вод —
при малом дожде оплывает Калязин.

Зачем на зубах эта терпкая вязь —
зеленая каменнокислая слива —
и странное чувство — никак не зовясь —
у теплого моря удушье прилива.

Лягушки звенят в потопленном бору,
такие лиловые и голубые...
Когда — я не знаю — весной, поутру —
а только не вынесу этой судьбы я.

И пальцем не тронут, никто не убьет,
а только не вынесу — жизни родимой...
В Калязине душном шиповник цветет,
неделю стоит, кисловатый, сладимый.

От вольного света, от жизни дневной —
запомни, Калязин! — чиста роговица,
когда перед старостью или войной
является светлая отроковица.

В СОЗНАНИИ ДРЕМУЧИХ ПРАВ

Река была утомлена
своей борьбою терпеливой
и шла, прозрачна и черна,
и повторяла кропотливо
левобережный дальний бор,
стволами золота и черни
лежащий поперек теченья,
и тот Макарьевский собор,
разрушенный перед войною,
но золотом и белизною
мерцающий на лоне вод,
пока идет последний лед
и рассыпает бредина
по щебню золотые купы
и туристические группы
внимают, чем земля красна,
хотя полу-Калязин с борта
и выглядит весьма негордо...
Запечатлеют колокольню
в воде на правом берегу,
где Волга делает дугу,
и по апрельскому раздолью
туртеплоход проходит мимо.
А колокольню ту сберег,
сломав ненужный алтарь,
кружок Осо-ави-ахима —
оставил для прыжков и риска,
но девочка-парашютистка
разбилась там... Молва темна:
де, отомстила старина
гонительному Волгострою.
Теперь библейской стариною
звучит: Осо-ави-ахим,
когда не вовсе быть глухим —
как Авраам, как До-са-аф.
Самих себя не опознав,

живем в предании, как дома,
в сознании дремучих прав
уничтоженья и погрома.
... Последний лед из-под Дубны
плывет, не зная глубины,
плывет, и льдина-лебедица
на отмель нехотя садится,
на щебень крепостной стены,
где нежно купа золотится
прозрачной ивы-бредины.

РЕКА БЫЛА РЕКОЙ

Две школы на Лесной, на берегу.
Но школа — это Волга. Вспомнить сладко:
апрельский гром, толчок и треск и гул...
Смеются стекла, содрогнулась кладка,
и это значит: тронулась, пошла!
Вся школа — за двери, конец уроку,
и «Воскресения»* колокола
благовестят ей славную дорогу.
Что нынче Волга на себе несет,
откуда что берет? Судите сами:
завозня, будка, дурень-пешеход
или шальной добытчик? — тащит сани...
Сруб, да новехонький — а что внутри?
Корзины, бочки и петух на жерди —
не может быть! Да ты глаза протри
да вспомни в самый раз о внешней жертве...
Спеши, рисуй, ломай карандаши,
но зрелище Свободы вне сравнений.

Я видел волю... Жалко от души
столь обделенных ею поколений.
Затем наследник твой ленив и вял,
что исподволь изводят в человеке
свободу — как бы ни обалдевал
в своей видухе он и дискотеке.

* Церковь на Нижней Дебре в Костроме.

ЧТО, ВОЛГА?

Простор воды, фальшив и пресен,
накрыл поемные луга,
и море зацвело, и плесень
окантовала берега.

Живой, зеленой, жирной пылью
напитана, вода цвела
и отдавала свежей гнилью —
а что она еще могла?

И видели цветенье тины,
и плакали глаза мои:
— Что, Волга? Что твои плотины,
пруды гигантские твои?

И было мне подобье гула
на потопленном берегу:
— Как будто, милый, я вдохнула,
а выдохнуть и не могу.

Не спорю с человеком гордым,
трудов его не оскорблю —
но преизбытком полумертвым
себя и землю погублю.

В моей теперешней доле
я терпелива без конца...
Но зрелище моей неволи
людские утомит сердца.

СО СВАДЬБЫ

Попривыкнешь — поодикнешь,
мне сказал лесной народ.
Выше головы не прыгнешь —
разве как наоборот.
Одикаю, привыкаю,
да привыкну ли когда?
Родина моя дикая,
Вохма — долги холода...
Одинехонек со свадьбы,
растревоженный, стою:
не упасти, устоять бы —
обнимаю верею.
Бор шумит, деревья гнутся.
Первый сдаст — пошел повал...
Весь тут виден, как на блюде...
И чего он приставал?
По молве какой? По злобе?
Наставляет кулаки —
только взял его за обе:
— Ты учитель, не моги — ...
Верея, душа прямая,
где же наши ворота?
Головой бы — понимаю,
а душой — душа не та?
За ноги сегодня кошку
мужичок берет — и — шмяк!
об угол — и всмятку... бошку...
понимаешь? Это как?
Предкам верен материнским,
что поделать — весь я тут.
ТОКМО ОБРАЗОМ ЗВЕРИНСКИМ
ТИ ЖИВЯХУ — и живут.
Банька, свадьба под субботу,
Тут и Бог — да тут и бес.
Все путем! С лица, с исподу
не насмотришься чудес.

И кого чему учу я?
Раскачай меня, качуля,
на кладбищенском лугу,
на высоком берегу!
Тут звонила и горела
церковка СО ЗВОНАРЕМ...
А теперь — кому-то дело,
как мы живы? Как порем?
Но в огне... Звонить, оглохнуть,
задохнуться и сгореть!
...Господи, не дай мне сдохнуть —
дай как надо умереть.

ПЕЙЗАЖ С ОБГЛОДАННЫМ ПЕНЬКОМ

Нужна лесхозу шишка —
и свалена сосна,
которую мальчишка
сгубил на семена.
Как пионер старался,
сужу по виду пня:
до сердца добирался,
наверное, полдня...
И скушно, и досадно.
Но хорошо, когда
достаточно наглядна
бессмысленность труда.
А там совет отряда
и барабанный бой,
«всегда готов», «так надо»
и головная боль.

Стою среди пейзажа
с обглоданным пеньком.
Некрасовская Саша
не плачет ни по ком.
Лежит старик Некрасов,
и немощен и слаб,
уныл и одноразов,
как пройденный этап.
Для воспитанья духа
в худые времена
селу нужна *видуха* —
и шлет ее казна...

Но я еще к вопросу
о срубленной сосне,
чьи семена лесхозу
понадобятся не.
На рапортичку нашу
плевали в Районо.
И я еще про Сашу,
про Сашку в секс-порно.
Сидит она, голуба,
и глазом не моргнет —
ломает двери клуба
звереющий народ...

Казна давала пенки,
но это коленкор
другой — скажу Губенке*
как мыслящий селькор.
Поплатится натурой
за непотребный мрак
не тронутый культурой
российский молодняк.
И вот какая тонкость
какой иглой блестит:
сперва убили совесть,
теперь изводят стыд —
Вот замысел программный...
За стыд, за совесть — на
кусоч свободы срамной,
несчастливая страна!

* Тогдашний министр культуры,
при нем стихи напечатаны.

ТРИ АКТА. БАНЯ, МИЛИЦИЯ

Первый. — Ну курва же ты, ну рвануха!..
(Реплики возмущенного духа).

— Бабку ударил! — Не бабу, а мать!

— Мать не уступит, айда разнимать.

Следующий. Общий гвалт без ремарок.
Сунулся — двинули в зубы: подарок...
Милых разняли. — Не так уж и пьян.
— Кроет мамашу, как Бедный Демьян.

Третий. В милиции шьют хулиганство.
— Шейте. Кто стерпит такое демьянство!
В город не выйдешь теперь в синяках.
Ну и сиди и витай в облаках.

Держат-подержат и отпускают.
Дела не будет. Мозги полоскают:
— Он же психованный, ты же смекай,
ты ж образованный, не возникай!

МОЕ ВАМ

Никогда до сих пор, полагаю, так
не был загажен алтарь Минервы.

Бродский, 1968

Соотечественники, полезно знать,
что в 1935 году от РХ в апреле
появился указ о детском расстреле —
его следует переиздать.

Юридический шлягер, творение ЦИК-СНК.
Комиссаршею Крупская там подвизалась Н. К.
и радела о детях, ~~Указ отменили!~~

~~Позаблди? Приостановили?~~ *А алтарь был на века.*
~~Неясно пока.~~

Только спрятан указ, как бересклет в лесу, —
скромные такие сережки, лесные перлы.
Ах, не одну уронил я слезу
на обесславленный мрамор Минервы!

А понтифики Марса — тут крови моря и моря —
бестолково толпятся вокруг своего алтаря
и не вспомнят о детском указе.
Вот он в бедном моем пересказе.

мало- ГРАЖДАНЕ ОТ 12 ЛЕТ, *но*
несовершеннолетние, и тем не мене,
изобличенные во вредительстве, либо измене,
либо... И К С Т Е Н К Е! Вот такой бересклет.

либо...
Так что, гг. министры и г-н президент,
пока ребятишки в войну играют,
не спите — используйте прецедент:
пусть их, *малолеток*, по фронтам разбирают!

Сотрясающе

и к высшей мере!

Меня надоумил не телеэкран —
нехватка и качество ракетного мяса —
я сам артразведчик и ветеран,
который при Сталине еще призывался.

Министр войны, вы ходили под стол пешком,
когда в Гороховецких песках я плавал с теодолитом,
а вернулся — с одышкой, с посошком —
рядовым советской армии инвалидом.

Инвалиды, человеческий хлам...
Хлам, который уже ни черта не боится.
...Обгорелых, оглохших, разорванных пополам,
на гремучих тележках своих — ты их помнишь, столица?

Как они матерились, качали права,
как стрелялись, не осилив судьбы...
— Всех сгребли, прочесав победивший народ,
как паршивую клячу скребницей,
всех калек разбросали по лагерным зонам, дабы
их бесстрашием не соблазниться.

Как я брезговал ваших загребущих лопат!
Санитарных собачьих облав,
голубиных дьявольских всасов!
Я с младенчества не признавал над собою и над
безответным народом моим — ваших иродовых указов.

Но. Являясь ответственным гражданином страны,
что измазала морду кровавее, чем в Афгане,
я живу — я умру в ней. А нынешней вашей войны
я не знаю бездарнее и поганей*.

Май, 1996

* Теперь знаю.

Май, 2000

Январь 2003

точнее: подожду

СЛЕД

Спортивный белый вертолет
плывет над сединою бора,
выслеживая волчий ход
через поля, холмы, озера —

сквозь все следы — след как струна
из края в край искристой глади.
Здесь — заповедная страна,
здесь — не убий и не укради.

Он правит строго на восток,
на Каргополье — не собьется —
ведет основу сквозь уток.
Спасется? Или не спасется?

Бреду с понурой головой
след в след — в игольчатую опаль
и слышу я не волчий вой,
а материнский дальний вопль.

Над полем у села Шатой,
над мировой глухотою...
Я кончу круглым сиротой.
Я кончу полной немотою.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ СТИХИ

Фотографический портрет
в просторной северной избе,
где встречен ты и обогрет,
и рады угодить тебе.

Простые мягкие черты.
В глазах — печаль судьбы чужой.
— Ты кто? И где была?
— А ты? —
И говорит душа с душой.

А где я, правда, был тогда,
когда я молод был?
Не помню, позабыл... Ах, да,
ведь я — одну любил.

И я боялся не беды —
боялся счастья своего,
такого ясного...
— А ты?
— Я не любила никого.

МАВРА

Игемон римский Ариан —
ему же вечное забвенье —
в своей провинции гоненье
воздвиг на первохристиан.

И книжник юный Тимофей,
к нему по свежему доносу
доставленный из Пирапей,
сейчас подвергнется допросу.

Игемон к тайнам бытия
уже давно равнодушен,
но страху римскому послушен.

Итак:

— Дажь книги мне твоя,
да силу их уразумею, —
он приступает к Тимофею.

И чтец отвечает:

— Навряд
наш совокупен будет взгляд
на самые простые вещи:
на крючья эти или клещи...

И он печально оглядел
пытóшный тягостный придел,
и взгляд его похож на веер —
столь медленно-широк и светел.

Свисают петли и крюки,
тьма возвышает потолки,
огонь горит в глубокой нише,
скамьи — повыше и пониже,
места для знатных и простых...

— Что извлечешь из книг моих
ты, человек с умом и властью,
без сердца?

Книг тебе не дам.

— Тогда пожри моим богам! —
игемон говорит со страстью.
И Тимофея вновь отказ
насмешлив и высокомерен.
Задет уж Квирин — как? Сейчас
не помню — п р о т о к о л потерян.

Игемон очень уязвлен,
хотя не очень верит он.
Что делать? Палача он кличет,
и тот каленым шилом тычет
в лицо чтецу.

И, глядя он
перед собою, не мигает...
Но весь темнеет...

— Ничего,
что очи тела моего
слезами крови истекают,
очам души отверзая свет:
провижу Рим грядущих лет,
Рим упадает, упадает...

Но быть игемон должен прав:
кляп в рот философу вгоняют
и вешают его с т р е м г л а в
и декорации меняют.

Столичной роскоши в укор
игемон прост. В его приемной
одна скамья да стол огромный,
да кесарь — вот и весь декор.

Пустое гулкое пространство.
Сюда уже приведена
жена философа — юна,
как юное само христианство.

Потупясь, у стены, бледна,
стоит, окутанная вся
хитоном серым — будто в дыме...
— Которое тебе есть имя?
— Я Мавра именуюся.

— Скорблю о юности твоей.
Вчера еще — отроковица,
в супружестве семнадцать дней —
и вот уж сирота — вдовица...
Был Тимофей привержен злу,
святого мрамора и лавра
не омочил в крови... —
Но Мавра
уж бездыханна, на полу.

Арьян глядит — и впрямь скорбит
о юности — своей, однако...
О ч н у л а с я.

Он ей велит,
покуда ж и в еще бедняга,
красно одеться, уплести
власы ей бледно-золотые,
и — римский бог его прости —
он шепчет ей слова пустые...
Так. Надлежит явиться ей
туда, где виснет Тимофей
вниз головой — на шее жорнов,
и неизвестно, жив иль мертв.

Просторна, повторяю тут,
и показательна темница.
Народ по сторонам толпится:
ждут милости — и казни ждут.

Полузадушенный, немой,
висящий слишком неудобно,
ужасен мученик святой.
А Мавра — ангелоподобна.

Глядит ему куда-то в темя
и молит дева:

— Сотвори

ты волю ирода — н а в р е м я .
Поди, богам его пожри —
хоть ради Господа Христа...

Несчастный головою дергнул
с такой досадой, что исторгнул
свой тошный кляп... Смежил уста...
И слышат:

— Пиколпос пресвитер,
приди — овей мне тьму лица! —
он из толпы зовет отца,
и вздох — по ней:
— Глядит! Увидел!

— Напрасно мучают меня.
Но эта пытка всех жесточе...
О, ароматная воня
ея одежды... Авва, отче,
да вырвет ноздри мне палач!
Свою погибель обоняю.
На те слова ей не пеняю:
ум женский мягок и незряч.

Что ж Мавра? Белая лилея
в вертепе мерзостном, она
молчит, любимого жалея,
его словами смущена.

Никто не знает из людей,
ни даже вещей Тимофей,
ни в дебрях Четиих-Миней
вы не найдете — только знайте,

что ей на свете — всех больней,
что всех страшнее — только ей! —
вот э т о здесь и прочитайте
во славу града Пирапей.

Одежды о б л а г о у х а н н о й,
красы своей — ей стыдно вдруг:
так мучится ее супруг,
так мучится ее желанный!

Еще твердит ей Тимофей
про недостойное, мирское:
и дьявол шел с ключом за ней,
и близко он, и все такое.

Она ж ему:
— Господь нам дал
семнадцать дней, а больше не дал.
Моих ты нравов не уведал,
судьбы своей — не угадал...

Но, милый, я тебе жена,
на мне сбывается Писанье:
и плоть и дух и смерть — одна,
лишь разлученье — наказание.

Настал игемона черед
уведать христианок нравы.
Вчерашней безответной Мавры
сегодня он не узнает.

Она сама к нему явилась,
когда уж солнышко садилось,
да — от порога:

— Вурдалак! —
в пол-потолок заколотилось,
да так кругло да звонко так.

И мы о кротости ученья
судить давайте погодим —
на Мавру лучше поглядим.

Ей

Тимофеево мученье
все отлилось — как плод схватилось!
Коса ее раззолотилась...

Хранят поныне образа —
глухие, черно-золотые, —
как Тимофея и з л и т ы е,
но близко зрящие глаза.

Взор ненависти — жгучий, рысий,
что выхватил сам Дионисий,
но слишком дерзкий и мирской,
так и остался в мастерской:
Мария рвется из толпы —
слепая! — сына распинают...
Эх, не дозволили попы —
они побольше Бога знают.

И сиротеет бледный лик,
отчаянием искаженный.
Святые жили — не из книг,
и тяжек в мире труд блаженный.

Игемон Мавры сторонится.
— Эй, сотник! — тот всегда при нем —
заметь-ка: из себя юница
как пышет греческим огнем!

Вчера к дознанью призывал —
тиха была. Гляди: взбесилась!
Волхв — и жену обволхвовал...
Все справедливо доносилось.

Еще он сотника в мужья
и злато Мавре предлагает...
Напрасно...

Нет.

Не постигает
игемон — таин бытия.

Ну что же, к сострадальцу мужу
веди уж Мавру, не томи —
тяни железными клещьми,
добудь из них живую душу,
егда уж лестью не добых.
Твоя последняя услада —
душа — живая — от живых —
а больше ничего не надо.

Иди, народ — прости меня —
досматривай сюжет старинный,
кровавый и многосерийный, —
постой у мрака и огня.

...И в волосы ей погрузил
мучитель грубые персты — и —
льняные, бледнозолотые
и впразелень... Нет, нету сил!

А дева:

— Ничего, прекрасно:
уж нет красы моей земной,
но ты избавил от соблазна
народ, стоящий стороной.

Вот — нежные отсечены
ей персты.

Тимофей не дышит.
В минуты полной тишины
скрипит перо: все кто-то пишет...

Невидимый и тихий скрип
все эти сцены без изъятия
сопровождает. Каждый всхлип
записан. Каждое проклятье.

...И волокут к ея ногам
к о н о б с кипящею водою —
горбатой, вспученной, седою —
и надо отвернуться вам.

А мне слепой дарован пояс —
младенческая белизна.

И слышно:

— От грехов омоюсь,
хотя вода и студена!
Дров поскупился — мне на муку!
Пошли к отцу — он древодел...

Вскочил!

По локоть сунул руку —
и тут игемон о б а л д е л!

— Велик Господь единый — Маврин! —
ошпаренный возопиял.

Скрипун и это з а п и с а л,
затем, что свыше был приставлен.

И кесарь Диоклетиан
узнает скоро в лучшем виде,
ч т о происходит в Фиваиде,
каков наместника изъян.

...Калек обоих — отпустить
велит ошпаренный игемон.
Однако искуситель Леман
того не может допустить.

В день изо дня — семнадцать дней
пытают их в пещере смрадной.

Был май, цветущий и прохладный.
Ходил народ от Пирапей.
И от усталости ума
сам возроптал язык: д о к о и х ?..
Тогда печален стал весьма
и повелел распять обоих
игемон Рима.

Крест — и крест.
Лицо к лицу, и два распятыя
или распахнутых объятъя —
гвоздями утвержденный жест.

И обращается:
— Сестра... —

и слово Божие внушает
супруге Тимофей с утра.
Она ж от ночи утешает
его до утренних лучей,
так отвечая:

— Брат любезный. —

И длится девять дней-ночей
их разговор бессонный, крестный.

И жажда мучит их, и пить
приносит им б е з в и д н ы й кто-то,
их помышляя погубить,
едва найдет полудремота.

— Нечистый! Или тяжело тебе — от нашего терпенья? — то Мавры голос. И виденье рассеивается. Рассвело...

И вот конец. И вот с о в с е м они умрут. Не будет рая. Уже он был.

Но перед тем о п о м и н а я с ь — умирая, она же к людям обратилась, никак не укорила, нет, а только так — как свет, как милость, как мать — а ей семнадцать лет...

— Все человечье, все мирское творили — жили среди вас а Божеское — вот сейчас — а это все равно, какое...

И вы творите их — равно и ничего не забываете, затем, что жизнь — одна. Прощайте! Другой — не будет вам дано...

И перелилось через край. И правда уст — тебе простится. Прощай, Прекрасная! Прощай, Святая Мавра, еретица!

70-е годы

ЗИМНИЕ ЦВЕТЫ ДЛЯ БЕЛЛЫ

Не оставалось ни грозди сирени
в зарослях заиндевельных кустов,
где перепархивали свиристели.
Но невозможно же — к ней — без цветов!
Тающий розовогрудый букет
вносят в мансарду.
Здравствуй, мой свет! —
Белла молчание понимает.
Птицы ликуют, она занимает
гостя беседой своей кружевной,
тянется к ней оживленная ветка...
Мамино словно — лицо предо мной,
мамина — стрелочка тонкого века,
мамина ласковость... Не обессудь,
что не слыхала таких комплиментов.
Это твоя материнская суть
правит повсюду: «Мальчик мой Лермонтов...»

Мама моя умерла налету.
Лопнул сосуд. Умерла — и упала
в душе казенном, в облаке пара...
— И никогда не теряй высоту! —
Шура* твердил. Переулочку-чулан,
где Авлабар** переходит в курятник.
Мечет бутылки Рубен Бабаян,
плет за тебя паладин твой и латник.
Белла, любовь — это вихрь под крыло,
всех мимолетностей натиск опорный,
а поклоненье душе тяжело.
Помнишь, над графикой белой и черной
облачная неоглядная гладь —
Кавкасион... Ни слова сказать —
было им тесно, они оробели.

* Александр Цыбулевский.

** Армянский район Тбилиси.

Шуры не стало, пока мы летели.

Кажется, это был Кутаис.
Собственным грохотом оглушенный,
взрыв дрессированный протяженный
сходит на кашель и кашель на свист.
Мамину смерть называли: инсульт,
Шурина гибель... Обе прекрасны,
связаны слишком. Никак не опасны
той, кого белые крылья несут.

Ах, военврач! Молода и строга.
Сколько больных, симулянтов, поклонников,
жизнью обязанных слезных паломников
к ней на прием! Позовет старика,
он ее «Ольга Лексеевна, матушка...»
Ей тридцать три, и война на дворе,
а в кабинетике как в алтаре:
свет, белизна, ни единого пятнышка.
Тонет за кладбищем и пустырем
расположение Третьего ЛАУ.
Щеголей двое, влюбленные в маму —
вечно последние к ней на прием.
Впрочем, такой установлен наряд:
доктора в город курсант провожает.
Весело: стужа иголками жалит.
Поле — как небо, и звезды горят!
Смерзлись — зажмурилась только — ресницы.
А у курсантика хром-сапоги...
С полудороги: — Беги уж, беги!
— Нет, — отвечает курсант Солженицын.*
Дома у матери слезы из глаз:
— Что за мальчишек на смерть посылают!
В тонких портяночках щеголяют,
в рыбьих шинельках — вот этот сейчас...

* Ленинградское артучилище окончил А.И. Солженицын.

ЭТОТ? Не этот? * Зима. Кострома.
Улица ЛАГЕРНАЯ. ТЮРЬМА
слева поодаль в начале СОВЕТСКОЙ.
Бег от ворот холостой, молодецкий!
Прямо по курсу играет звезда...
Справа — в сугробах за речкою ЧЕРНОЙ —
дремлет Татарская слобода.
Ряд именной — род плодотворный,
словно пророчество или родство:
наши Ахматы, Ахсаны, Ахаты...
Все Боголюбские** татароваты
в силу простого соседства того.
Белла-якты***, жизнь чудесно тесна!
Ты — ОПРАВДАНЬЕ ТАТАРСКОГО ИГА,
ибо свободою одарена,
как лебединокрылатая Ника.
Только — за каждую Божию тварь
призвана мучиться ты и молиться,
гордые крылья сложив на алтарь —
крылья в крови — на алтарь материнства.

* Александр Исаевич сказал: «Я не болел».

** Фамилия нашего рода.

*** Свет (тат.).

З а п и с и

**ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С БАБКОЙ АННОЙ,
ГОЛОС ЕЩЕ В ВОЗДУХЕ**

ИЛЬИН ОСТРОВУШКО БАЖОНОЙ
ТОНЬ МАЛ — ДАК ОН И НЕ ДЕЛИЛСЫ.
ПАХАЛСЫ. РОВНО ПУХ — ПАШОНОЙ!
КОСИЛСЫ. КАК ЖЕ НЕ КОСИЛСЫ!

И выцарапывала камень
ОШШО ТАКА ВИЛАНЬЯ-СОШКА
и обступал валунный рамень
поля, утопшие немножко...

ИНОЙ ТАК ДВОЕМА БЫКАМИ
ИЗ ГЛУБИНЫ ВАЛУН НЕ ЗДЫНУТЬ.
ОШШО И ГРЕХ... НАРОШНО КАМЕНЬ
ТАШШЫШ — КАК НАДО БАБЕ СКИНУТЬ.

Подэол да МЕНЕНЬКОЙ КАМЕШНИК
накормлены за три столетья.
УЖ КАК НАСЕЛ НА НАС КРОМЕШНИК,
ДАК И САМИХ В ХОМУТ ДА В ПЛЕТИ!

У НАС-ТО ШТО — У ИХ-ТО ВОЙСКО!
У ИХ ПРИ ЖОПИНЕ НАГАНЫ.
ВСЕ ЧЕРНЫ — НЕРОБОТЬ СОТОНЬСКА —
ВСЕ КОЖАНЫ КАК ТАРАКАНЫ...

Борами затянуло густо
все пожни после супостата.
А не бывает место пусто
какое было место свято.

ШТО БЫЛО — ГДЕ-НИГДЕ ХРАНИТСЫ.
ВСЕ НОНЕ ПАШНИ ОСТРОВНЫЕ —
БОРЫ, БОРЫ, ДА ВСЕ — ГРИБНИЦЫ,
ДА БЕЛЫЕ! ДА ЯДРЕНЬЕ!

Рае

Туманный дождик тише тишины.
Серебряное облако лежит
отсюда — до Николы и Ключей.
Ты без платка передо мной стоишь,
и палехская золотая низь
унижает волосы твои.
В лесу еще сугробы. Дышит лес.
О раменье кругом едва-едва
белеет наледь. Поздний месяц май.
Зажги свечу в холодном сельнике,
дохни — и душу видно: ра-ду-га...
И погаси...

З а п и с и**АГРИППИНА**

— Тропки-ти перемело,
а животина тонь понятна:
я веду ее в село,
а она меня обратно.

Иду — боле не могу!
А темно — нали что глухо.
Ноцеваем во снегу
в обхватоцку с козлухой.

Снег-от мяжкой.
— А куда,
слышно ли, погнали сына?
— Ой, далёко, ой беда! —
заревела Агриппина. —

Николай-от клюцесськой
нас конем и переехав!
Не видав дак! Смех какой,
а замяв — так не до смеха.

Возле самого крыльца,
знацит быть, и ноцевала.
Раздобылася пивца —
и козлухе подавала.

д. Осаниха

З а п и с н и**МАРИНА**

Чего же ты, моя Марина,
лежишь как глупая перина?
Да ты была ли мне верна?
Была, отвечает она,
была, да лишку, в том и дело.
Не приворачивал домой —
стерпелась я, залетик мой,
поэтому и поглупела.
Уж подошла такая кромка —
постыла я себе сама.
Смеются бабы: пустодомка...
Не спрашивай с меня ума.
Чего колодец позаглох?
Давно, знать, водушки не черплют.
А ты-то сам — чего уж плох?
А? Мужики-ти али терпят?

З а п и с и**ПИСЁМУШКО**

Здрастуй Ванюшко мой сынушко бажоньй
на два годичка незашто посажоньй
говорят не виноватый ты Ванюшко
кланяется тебе твоя мамушка
и всем товарищам твоим и всем начальникам
как и звать не знаю величать ли как
прости Ванюшко меня простоголовую
таку негодну дурословую
все и складываю нонь да причитываю
а писёмушка твое не прочитываю
а прочитыват сын мой Вовушко
он и пишет всяко писёмушко
родной сын посажоньй куролесливый
а чужой ученый жалесливый
скажу сделай чо дак он и рад
а уходит сам в байну в трубу играт
и пошто эту гадось в рот береш
такой смиренный весельй да всем хорош
у его труба ли квохчет ли керкает
а ку песню заведет всю сковеркает
давай брату гыт мать писать письмо
а письмо вперед и бежит само
нет уж мать по порядку веди не спеши
а ты не слушай меня знай пиши
дуда гнутая сарафаном звать
вся серебряна с такима папинкам
в байны сам сидит раскладет тетрадь
нуко с птичкама такима с крапинкам
а лони пришло эких-то пятеро
кто таки а говорят с конца озера
дак в палатке ночесь их заморозило
а у Вовушки ни отца ни матери
запустила их в зимню горницу
сама думаю кака может вольница

нет гыт мать мы художники
и тебе еще может помощники
эти двое-то с двоима женами
так что мы тебе не грабители
жаль смеюся говорю что не видели
непутевого мово посажоного
а ты Вовушко не жанат чево
а гыт мать все в жизни обманчиво
а сам поглядыват на фотку на сестру твою
на таку же на дуру беспутную
добротой да красотой своей нещасную
в батьку видно тихую согласную
а вот как сынушко заключенной ты мой
одна беда мне с твоей тюрмой
как пошли дожди картошка не копана
а сыны ушли дак не прикованы
мне высокодавленье такой степени
ин до звездочек до края потемени
всю шатат меня ровно пьяную
на коленках в борозде тут и плаваю
изустала да пала да запела я
во всю голову дура угорелая
говорить-то путем разучилася
до того сей год с картошкой добилася
не сердис на меня сыночек Ванюшко
плоха стала я где бы батюшку
нету батюшки нигде нет и в Пудоже
видно ждуд меня к себе знать зовут уже
поклонися от меня всем начальникам
каким товарищам как звать величать ли как
а еще тебе сам напишет Вовушко
напиши ему беспутному два словушка
и за что только Бог меня наказыват
знает все мои грехи да не сказыват

З а п и с и

СТЕПКА ДА ВАЛЬКА ДА ВАНЬКА ДА Я

Наковальня возле дома.
До полночи Степка бил,
Вальке сделал ОХАЁМУ*,
только руку порубил.

Рядом озеро. Прекрасно!
А в низинке вырыт пруд:
Степке думно и неясно,
отчего там щуки мрут.

Банька. Срублена нятя:
нет пазов, а только стёсы.
Щель: снаружи наблюдать
за Валюхой чернокошой.

Кто поверит? За женой!
— Ну, ты, Степа, юморной:
где была, да с кем стояла...
Эка нежность обуяла!

Возле байны хитрый ОЧЕП:
свайкой затыкать трубу.
Струнка в озеро и блочек:
чтобы Валька на горбу

не таскала в гору плахи,
чтобы с музыкой ведро
в воду плюхалось...

— Хитро!

— Для иё, для росомахи...

* Непонятно что и зачем (олон.).

— Ревнуешь... Попомни, брат:
РЕВНОСТЬ — ДЬЯВОЛЬСКАЯ СИЛА!

— Так пристигла — и не рад...
Как медянка укусила!

— Отопрись! Какая страсть?
— Видал! У меня ВИНОКУЛЬ:
Ванька шуминский вчерась
перед ею ровно гоголь...

— Ванька?? Ну, поговорит —
и какой тебе убыток?

— Не видал ты ейных лыток!
Вот запру — пускай горит...

— Этот ШКАНТИК? Ванька шумный??
Это ж ВЕНЫ! Синева...

— И гу-ляй от-се-до-ва! —
и дрожит, и взор безумный...

Пелус-озеро

Век живет у оврага
березина вниз головой.
Стройны отпрыски. Только и правды,
что на березе кривой.

Бабка, кошка, козлуха
в деревеньке лесной.
Разговаривает старуха
с тишиной.

Это свыше
ей дар таковой.
Опирается на косовище,
клонится над травой.

У худого покоса
гнет тебя пополам...
Знак вопроса,
не ясного нам.

Позимуй да полетуй,
не пыли прямоюй
возле спинушки этой
либо — той.

КАР-ОЗЕРО*Н. Арронету*

Лежала в лодке нагишом,
литую косу в воду свесила,
чтоб я, который мимо шел,
тут и остался бы, балбесина, —

а я бежал!.. Как снег бела...
Вновь тропка обогнула озеро,
покуда косу расплела
и копну за плечо забросила.

Пустынное лесное Кар.
Подсочный бор, болотный ельничек.
Кирпичный по щеке загар
и розовый такой ошейничек.

А тело так спит бело,
что и комар ее не трогает.
Все в лилиях, озеро кругло,
и сердце, обрываясь, грохает.

По лывам тощий березняк,
и мреет торфяное, карее...
Курится банька на камнях.
Напарница — ее постарее.

Из четырех недель одна,
законная — им на пропитие...
Постой! Так это же она —
скрипачка, беглая, из Питера!

Лес в дивном зеркале — и то
судьбы ее преобразование...
Напарясь, наплескавшись до
блаженного изнеможения,

с подругой шкалик распочнет...

А волосы — коснись — присвистывают,
а тело под рукой поет,
как лес поет зарей росистою,

как скрипка пела под смычком...

Живи, душа, своею волею —
и никогошеньки кругом!

Ох, никого... Меня — тем более.

Александру Бурлуцкому

Есть бродяге куда податься,
потому что всегда со мной
дом завещанный и родной:
закоптелые стены снятся.

Повторение,
 строй,
 согласье —
и когда-то буду лежать
и божественное запястье
так же буду бояться сжать.

Повтори же, разбери,
вороти мени — той Боязни!
Я не знаю прекрасней казни:
все прошедшее впереди.

Давнею бурей снесена,
ветви подламывая постепенно,
мачтовая островная сосна
тонет во мшарнике розовопенном.

Дыбится крона, капризно вяясь,
освобождаясь от позолоты,
тенью и памятью становясь,
мякотью и благодатью болота.

Вся кривизна, вся прямота
безукоризненно перевита
тонкой резьбою.
Станут во благо
тяга и гнет —
вспомнишь, когда и тебя захлестнет
розовое, голубое...

ОБИДИЩА

Лидии Корнеевны Чуковской

Заброшены поемные луга.
Трава дичает и земля тоскует,
и речка дремлет. Водоросли взяли
дурную силу. Волглая земля
пружинистую кочку выгоняет.
Травы — по грудь! Ступил — упал, и впору
на лыжах по июлю пробираться.
Зовутся одичалые места
обидами... Что же делать? Гну
из проволоки кошку и тащу
челнок «Титаник» через хвощ и тальник,
и русло прорубаю в ивняках,
и колодняк растаскиваю. Кошкой
русалочки выдергиваю космы,
как бы немецким краешком ума
то волокно прикидывая в деле
каком-нибудь... Ух, жарко! Овода...
Кисельная вода, кисельный берег.
Четвертый прочищаю омуток
для хариуса, он травы не любит.
Но мне не выкосить лугов дремучих,
где стожары еще торчат — с тех пор,
как тут косила в девках бабка Лиза —
и хвощик в мелкой речке, и осоку,
а на запретных поженках лесных
косили по ночам...
— Придут — отымут,
а чем кормить скотину? Дети дак!
Паду и заревусь, *одва отходят...*

Обидища...

Зачем я привязался
к тяжелым, погибающим местам?
Три человека там еще зимуют,
два дыма по утрам стоят высоко
над яркими карельскими снегами,
два огонька горят в потемках ранних.
Зачем я — на погосте — дом поставил?
Не знаю... Руки знали. Вот и дом.
Вот печь — да русская! — так я писал поэму,
как эту печку складывал — чтоб тяга...
Вот озеро в окне — и волны света
скользят по потолку... Зачем-зачем?
Затем!
Не спрашивай, а дело делай,
как первоклеточка всего Творенья
в какой-нибудь начальной преисподней...
Теперь крестьянский пот тебя научит,
чему не учат университеты,
теперь опомнись и *благослови*
народную работу и пойми
обиду...

К вечеру я с ног валюсь.

А если не валюсь — мой день неполон!
— Ты каторжной, — мне Лиза говорит.
— Сама-то какова?
— А дух выходит,
выходит, Вовушка.

При всем при том
меня гнетет — несделанное дело,
преследует — несказанное слово.
Я чувствую огромную усталость
от жизни — той, не прожитой! — и смерть
приму от нарастающего долга.

НОЯБРЬ

Яну Гольцману

Поутру тишина. И такая, что слышатся, мнятся ли
голоса: через гладь студенца
разговаривают острова —
острова — острова — ровным счетом
считай до семнадцати.
— О-го-го!.. — и зажмурься и слушай: округа жива.

Человек в тишине. Он уже недалёко от истины:
перемолвится с лесом, с погостом деревни, с женой —
та в невестах еще... В глубине и потемени исповеди
небывалое слово поблескивает блесной.

Вот куда-то с ружьем через лахту наладился Кухтину:
— Здравствуй, Кухтя! — Здоровы!

(векам четырем вопреки)

Теплыню обойди. С косачем заверни-ко на бухтины.
(Подо льдом шевелятся, играют в песке родники.)

Ветерок. Стаей галочьей голоса возвращаются,
потолпятся и сызнава мечутся по берегам,
в заводине укромной задержатся, посоветуются
и улягутся там.

— Слушай, праведный лес, земля праведна,
водушка праведна!

Не запутай, тропинушка, сынушку моего! —
бабка Лиза с крыльца ворожит.

Ты жива, моя родина...

Ты жива. Затаилась. Ноябрь. Ничего, ничего...

Светлане Соложенкиной

Морозец. Дымка по воде. Гагары
на озере с утра заводят плач.
На Бодунов перелетел косач —
нет ни соперника ему, ни пары.

Он песенку чувашскую поет:
— Чуу-вышш, чуу-вышш! —
прозрачный жемчуг трели
в зобу его клоочет. Этот год
он в октябре один, как был в апреле.

— Ус-льшь! — слетев на луг, по серебру
косым крылом чертит и черню пышет.
Никто его, никтошеньки не слышит
на островах,
 в обидищах,
 в бору...

Одна заветная? Их две
в моей болящей голове:

одна — земля, другая — небо,
и нет меня без них. И мне бы

небес не знать, землей не стать...
Неизмерима благодать:

ужели — третья? Быть не может!
Так значит, век еще не прожит?

Взбежал, как мальчик по лучу —
о как светло... как жить хочу...

ТРИ СЛОВА

О жизни, а вернее, о смертях
я думал — и над купами лесными
зависнул вертолет со мной в когтях,
с моими чувствами, еще земными.

Внизу на страшной ветровой волне
кусты и травы рвутся вкруговую.
Минута мысли полагалась мне
и пара слов, пока еще живу я.

Вскипела и разбрызнулась вода,
расшиблась насмерть мирная козявка.
Мне совершенно все равно, куда
меня уносит эта железяка.

И тут ОНИ сказали мне: учти
и уложись в коротенькую фразу,
но без эмоций. (Там у них почти
все как у нас и сдвинуто на фазу.)

Местоименье МЫ сменив на ВЫ,
я напоследок уношу во взоре
смятенье крон, пониженность травы,
потерянность и гибель инфузорий.

И потому я все-таки найду,
найду НА ВАС несметную управу.
ЗА МНОЮ — ЖИЗНЬ — вот я имел в виду
что ВАМ сказать. А краткость мне по нраву.

ПОКЛОН КОСТРОМСКИМ СТАРУХАМ

Река — тогда она была рекой —
снесла меня, едва зашел по шейку,
но я спасен был бабой костромской
и на плоту отшлепан хорошенько.

...Все вижу: мутная вода желта,
а ноги тут же отнялись со страху,
на корточках на лаве баба та
полощет, пялит белую рубаху.

Нет голоса, пускаю пузыри...
Махну рукой... Меня на стрежень тащит...
Янтарно-зеркальная изнутри...
Мальчишка тонет и глаза таращит:

весь берег солнечный, костры в цепях,
плоты, платки — отчетливо и колко —
телега с бочкой — мельком, второпях
и навсегда уже... Ой, Волга, Волга!

Но ТОТ, Кто это сверху видеть мог,
Тот бабу под локоть толкнул: гляди-мол:
вон головенка будто поплавок,
то вниз ее, то вверх — и мимо, мимо...

ОНА УВИДЕЛА — и в воду плюю!
В опорках, в юбке...
И сегодня в лица
я вглядываюсь костромских старух —

и каждой,
каждой
надо поклониться.

З а п и с и**ОДНОЛЕСЯ**

— Так, значит быть, случилось однолесья...

— Чего-чего?

— Однолесь, говорю,
случилось... Ты думай, а не смейся.

Ну, еду в остров, дело к ноябрю,
и вижу: ПЛЕЩЕТСЯ, а так студено,
на берег вышла и манит — вот так.

Стоит и ровно бы поет... ВОДЁНА...

— Кто-кто?

— Водяникова дочка дак!

Вся ровно бы как дым... Как вот Васи́на
когда-то, да?

— А подь на леший след!

— Так это не водёна, а ундина.

— Не, не, не Дина! (Размахался дед.)

Да разве Дина... Динушка грузная,
а та танцавенька така. Ну вот,
подъехал, и растаяла, родная,
и следу нет, а всё бы как поет!

— Русалка?

— Не, русалка другаяка,
та в Черной лахте, ту не я видал...

— С хвостом, дед? Как сорога?

— Как собака!

Тьфу! Сам всё знат про всё,
а чё пристал...

— Так это, дед, была такая овидь...

— Во-дё-на! Грудки маненьки, стоят.

Однолесья и было, и давно ведь,
а вижу...

Спрашивают! А сам всё знат!

Пелус-озеро

ГОЛУБЬ

Запутался, висит на водостоке,
кровавая цинковые рукава.

Народ детей не то что бы жестокий,
но дикий.

— Сам отцепится.

— Едва...

— Пожарников позвать.

— Приедут, как же!..

Постой и ты в сочувственной толпе,
послушай, кто чего умнее скажет
о деле, ясном первому тебе.

И, разрешая праздные вопросы

КАК БЫТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ и КТО ВИНОВАТ,

снимай кожанку, выплюнь папиросу
и полезай:

с ухвата на ухват —

второй этаж... четвертый... или пятый?..

И нитка с голубем — в зубах.

И — вниз.

— Рисковый малый!

— Но придурковатый...

— А что, и я бы!..

— Ты не альпинист?

— Дай пять, кирюха! Познакомлю с бабой,

пошли, тут в Трали-парке, на Лесной...

Вот когда страх, и вот когда я слабый

и бледный — перед желтою стеной.

Какая баба!.. Улицей Лесною

иду домой, совсем не в кураже.

Однако знаю: Бог всегда со мною —

как был тогда на пятом этаже.

*Миусская площадь, угол нынешнего
Гуманитарного Университета*

ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ГОЛУБКОВА

I
Ты был...
Ты рыцарь был —
все отрок был —
за сорок —
твой самый чистый пыл
весь вспыхивал, как порох.
Твой декабрист-старик,
как старчище былинный,
столь одинок и дик
на площади пустынной,
где конного царя
с прибавкой пьедестала
фигура Кобзаря
уже перерастала...
И бунтовщик умрет
от счастья речи вольной,
и тело приберет
квартирный сердобольный.
И все — и ничего
от грозного восторга?

...Я выгащил его
из мерзостного морга.
Для беспризорных тел
есть под Загорском яма —
ты этого хотел
так долго и упрямо?
Единственный исход —
и все-таки не выход.
Прости, мой Донкихот,
ты сделал ложный выпад.

II

КОСОЕ ПОЛЕ

Прямая тень стоит посередине
завьюженного поля, впереди,
и не отбрасывает тени —
и не избыть моей потери.
Ты выстрелил в себя и спас меня.
И весь тут сказ. И тут бы точка.
Но старая кочует строчка
из года в год.

К исходу дня
развиднелось. Конец пурги.
Прозрачные полукруги
стекают по зернистой корке.
Село сутулится на горке.
Косое поле оползает в лог,
и солнышко по зерни
свет посылает мне вечерний.
Но как ты мог...
А за сквозистым сосняком
детишки — разноцветные — гуськом —
бегом сюда. Любишься, гость —
и пробегут тебя насквозь,
не замечая лишней тени:
тебя ведь нет для них...

Я тоже состою из слов одних
или каких-нибудь видений:
на взгляд учеников
учитель не вполне материален.
Среди закатных облаков
сиянье ослепительных прогалин —
лазурь, заливы... Мы с тобой больны
Италией: ке чьело кьяро!
Но ты не дожил до своей страны,
до половины не исчерпал дара:
на перевале... в сорок два...

А там ущерб?
Чудак! Да в эту пору
катись хоть в пропасть!
Но — слова — слова —
им — только в гору, в гору, в гору!
Гора перед тобой встает
и следующую скрывает,
и заблуждений не бывает,
когда — наверх,
а там — полет...

Ты спрашивал: а есть ли храм
в моем селе, ты вне прихода
не мыслил мирного народа...
Темно и сонно по утрам.
Чуть свет, через косое поле
бежишь еще сквозь сон *ко школе*,
где затемно двадцать одно
дежурная зажгла окно.

А храм... Соборная руина —
ке чьело кьяро э туркино! —
закатным небом обдана,
и вслед за уходящим светом
базилика плывет в иные времена
и тонет в этом.

III ПОЧЕМ?

(последний русский вопрос)

Митя, Митя, святая душа!

Ан. Жигулин

Святая. Митю Голубкова
и полюбили мы такого,
и я о том. И не о том.

Ему лежать бы под крестом,
под голубцом — в краю Волоцком,
под крышицей, в углу сиротском,
но солнечном, где дышит ель,
роняя слезную капель
сквозь полог на могилу чью-то,
и сыплет шелковую паль
на тех, кого сгубила смута...
Здесь *вольница* — их больше жаль.

В Абрамцеве, в семидесятых,
самоубийствами богатых,
в насквозь промокшем ноябре,
когда земля лежит без кожи...
Прости, что не Твоею, Боже —
своею волею помре.

И не Волоцкие места —
он их любил и спал бы сладко —
Ваганьковская теснота —
его семейная оградка.
Молчали. Говорили кратко.
Посвистывали поезда.
Трамвай вопил на повороте.
Дрожал бетонный виадук.

Но в человеческой природе
такое выпирает вдруг...
Шекспировской ненастной ночью
при факелах и фонарях
ваганьковской похмельной сволочью
был *выковырен* Митин прах.
И прах отца его. И кости
несчастной матери его...
— Не может быть! Да ну! Да бросьте!
И что потом?
— И ничего.

Писали. Дважды. Всяк прочел,
что *чистоган* дошел до недр...
— Какая дикость!.. А почем...
ваганьковский квадратный метр?
С меня вне всяческих приличий
содрали за новодевичий!

ЧУЖАЯ

Крепдешинная красotka,
впрочем, мать двоих детей,
впрочем, честная сексотка,
вплоть до сломанных костей
преданная идеалам
и двоим сироткам малым,
впрочем, сыновьям врага,
заключенным в детском доме.
Сорок лет над пармой Коми
воет вещая пурга.

В переломанных костях
ревматическая стужа
и вина в чужих смертях,
впрочем, и родного мужа.

Как ковыль-трава, седа,
над записками колдуя,
из последних сил себя
ненавидит молодую!

Только этим и жива,
как над каменной кручей
та бесплотная трава —
скудной влагою летучей.

В заключении сидит —
в тихом доме престарелых,
на детей, ковыльно-белых,
с отчуждением глядит:
все в нее... Свиданье длится
нестерпимо долгий час.

Мукой с ними поделиться
нету сил... Дает наказ:
сжечь ее — не хоронить,
прах предать пурге полночной
воркутинской, правомочной
с прахом прах соединить.

П о р т р е т ы

ТВАРДОВСКИЙ

Прогуливался вечерами.
Сквозил как лось в березняке
и в рост обозначался в раме
дверной, и медлил в косяке.
Потусторонне спросит, нет ли
чего на донушке... Болестъ
затягивает хуже петли.
На донушке, по счастью, есть.
Сидит в бушлате иль «москвичке» —
в том дачном рубище своем
под гнетом горестной привычки.
Я пью, ты пьешь, он пьет — мы пьем.
Я не люблю молву мирскую —
ей в пересудах откажу.
«Свою п'ю, а не кров людськую» —
Шевченко не перевожу
и невозможно: «Шкода й праці»...
Когда Твардовский в петлю лез,
он был медлителен и трезв,
и в этом стоит разобраться.

Тому назад уж много лет
у «дядьки» нашего Бориса
на даче под Москвой открылся
Твардовский Университет.
Иркутский был и был Московский,
однако времени сему
нас вразумил старик Твардовский —
всех вместе и по одному.
На даче всласть я зимовал —
тот год бездомен был и смутен...
Там жил Шугаев, жил Распутин,
Преловский жил, не горевал.
Вампилов Саня... Мир ему.

Березки, елочки, осина,
и теремок стоит красиво,
и гость прекрасный в терему.
У вас тут прямо общежитье —
Сибирь! Страннопримный дом...
А как здоровье? Как с жильем?
Возьмите... в долг... не откажите.

А лиственница хороша
и на голову выше леса.
В ней шелковистая душа
и древесина как железо.
Бывает так: на море хвой
налягут ветры верховые,
и ломают корень становой,
и вырывают боковые.
Великолепный ствол простерт:
все погибает быстро — или
годами мается, растет...
Какое дерево свалили!

Был с половиною страны
Твардовский в частной переписке
и косо, и со стороны
глядел на рынок олимпийский.
Прости, Олимп: тот разум благ,
в ком золото — рассудок детский...
Есть Исаковский, есть Маршак
на бедность лирики советской.
Ахматова... Был Пастернак,
но этот — выкормыш кадетский,
а я, вы знаете, кулак —
Твардовский пан и шпынь шляхетский.
На вещем языке доносов
я собиратель всех отбросов,
я пригреватель всех злодеев,
особенно из иудеев.

Раскольник и смоленский патер,
освободитель сумасшедших,
не в эти ворота зашедших,
и мертвецов реаниматор.
Заведующий старой свалкой,
ходатай и стучатель палкой,
поскольку кандидат в ЦК...
В опале, правда, но — пока...
Я вдохновитель перекосов:
в журнале есть такой отдел —
земельный «черный передел»
для самых проклятых вопросов.
Василий Теркин — в царстве мертвых.
Читали? Хвалят... Не прочтут...
Что ж молодые не растут?
Не жалко — траченных да тертых?
Вздыхал: сознание — поздний дар
ущерба и похолодания.
Как думаете, Вольдемар,
Россия — все-таки не Дания?
К себе сомненья примерял
и шпагу горестного принца
и, треснув кулаком, — я — дряхл! —
шептал: сознание... боится...
Все нужники сам обхожу,
с журналом — месяц проволочки.
Старье, жулье... поодиночке...
А что же вместе? Погожу.
А как же — у кого служу,
того бранить неблагоприятно.
Иное дело — принародно,
по расхождению идей...
В нем это жило и болело:
«Мне правда партии велела
всегда во всем быть верным ей».
Шел — прямо, оказался — слева.
А большинство ушло правей!

Что делать? Врать? Себе дороже...
Потом попробуй зачеркни —
так и напишется на роже!
Попортить борозду — ни-ни...
А знаете, читать стихи
так стыдно: выйдешь словно голый...
Я слушал: так шумят верхи
и тишину грызут глаголы.

Идут года — стоят дела.
Накапливается утрата,
как призрачная тьма Рембрандта
или собора полумгла.
Есть ложный стиль: мемуарит,
когда сидишь — вос-по-ми-на-ешь...
А Величанский говорит:
пиши о том, чего не знаешь, —
и будет то, что быть могло,
но в силу недоразумений
буквально не произошло.
Да здравствует — душа явлений!
И снова — глядя на отца —
напишет сына Модильяни...
А нет — вернемся к обезьяне,
дойдя до твердого конца.

Вчерашний гость — и нынче в гости.
Снег, иней, солнце и мороз.
Все опушилось и зажглось.
Стоит и дышит: Гос-по-ди!
Вы не смотрите на меня...
Природу я не украшаю.
А знаете, не возражаю —
немного... для начала дня.
И Белла, Белла там жила.
Она бы рассказать могла:
серебряная, кружевная
зима была... А я не знаю.

Была — и не было зимы,
и правил мной не бог деталей,
но то окно нездешней тьмы
за здешней той, за далью далее!

За новомировским столом
Твардовский в голубой рубашке.
Все пребывает — поделом —
в почтительном державном страхе.

Магнитофонная змея
прокручивается вхолостую...

Стучатся — входят. Это я
пришел к нему. Я протестую.

Против чего? Против молвы:

Александр Трифонович, Вы
отреклись от Солженицына?

Не понимаю...

Не понимаете? Отрекся?

Куда молва — и ты туда?

И я о взгляд его ожегся —
воскрес и умер со стыда.

Вдруг выщвели его глаза,
потом зрачки заполонили
пространство дышащее — за —
раздавшееся там, за ними.

И поминая вашу мать,
и багровея, как при флаге,

орет Твардовский: вурдалаки!

Хрипит Твардовский: грязный тать!

Соратнички, секретари —
и с прахом дольным их мешает.

Свобода рвется изнутри —
словарь великий воскресает —
славянская прямая речь —
родная,

рваная,
босая! —

когда является Исая
сквозь грудь разверстую протечь...
И ни-че-го не разумели
висящие вниз головой
запоминающие змеи
аппаратуры слуховой.
Он наплевал на их коварство,
он отвечал за их позор,
последний рыцарь государства,
и мученик, и фантазер...
Непререкаемый генсек
той партии, которой нету,
за то сживаемый со свету,
больной и старый человек...
Твардовский не был пощажен.
Своя — своих... Тишком, окольно...
Своя — своих... И он пошел
навстречу своре — на рожон —
медлительно и добровольно.

И снова тихая Пахра.
Его последний день рожденья...
Кончается пора цветенья.
Жасмин в окне и дождь с утра.
Мы не видались года два —
как будто вырваны страницы —
больной доставлен из больницы
и не выходит никуда.
Пришли, поздравили. Была
среди друзей княжна Светлова —
Амирэджиби... Как дела?
Пра-хо-вы-е... Четыре слога.
Был стол — я убежал. Еще
мной не изведенная горечь
нахлынула... Где Леонович?
Не-хо-ро-шо...

Нехорошо. Он был бойцом...
В начальных сумерках, с лицом
багровым и одутловатым
вставал к работе молодцом
часу в шестом, а то и в пятом.
А как однажды прямоком
по дачной узенькой аллее
гнал палкою и матюком
правительственного лакея!
«Высокой честью» оскорблен —
пакетом — подлой синекурой.
Твардовского — скажи им — шкура
отдельно — стоит миллион!!
На дачный весь архипелаг
летели молнии и громы,
где нынче задом на овраг
выходят люськины хоромы.
Схватился: сердце... Здесь, в конце
аллеи, просеки в начале...
Но страха не было в лице,
а смесь презренья и печали.
И за два этих года сдвиг:
труд совести, души и смерти...
Я вижу не лицо, а лик.
Светлейшая шептала: Гмерто!* —
покуда нем сидел старик.

За молчаливою рекой,
в краю печали и мороза,
не докричатся перевоза —
где перевозчик молодой?³
Ни голоса из-за реки
и ни мосточка, ни жердинки.
В лице прозрачном — ни кровинки
и — дышащие те зрачки.

* Господи! (груз.).

П о р т р е т ы**ВАРЛАМ ШАЛАМОВ**

Там, где Садовое кольцо
легло на белые сады,
я угадал его лицо —
я целовал его следы.
На Лира не был он похож —
не те печали-времена —
классических подобий ложь
оригиналу не нужна.
Зеленый свет! Рысдой-трусдой,
не глядя, по своим делам...
Но я увидел, как

Варлам

Шаламов

шел через кольцо:
глазниц полуночная тень,
проваливающийся рот...
Он шел через московский день,
сквозь кольцевой круговорот.
Пустоты тела и углы
и полы с ветром пополам...
На сочлененья и узлы
пойдет любой железный хлам,
и примет каждая щека
по вмятине от кулака:
твоя натура — потрудись,
твоя пора, авангардист.

Исканьями переболев,
увидим как-нибудь и мы,
что этого лица рельеф
хранят ущелья Колымы.
Итоги классовой борьбы
невпроворот и невпродых:
надсмотрщики и рабы

тридцатых и сороковых...
Безбожный труд пойдет невпрок,
вернется золото в песок,
и встанет горла поперек
у нищих отнятый кусок!
За двадцать лет в колымском рву
мне столько счастья раб нарыл,
что кровью харкаю и рву
промежду хрюкающих рыл!
Неумирающий конвой
внучат и правнуков растит,
и тяготеет над Москвой
непобедимый срам и стыд!
По тихим улочкам ее
гуляет с палочкой, в пенсне
мемориальное трупье —
не наяву — и не во сне...

В приюте обмели углы,
иконку положили в гроб,
потом зарыли кандалы
поглубже, чем в колымский ров.
— Помилуй душу и спаси! —
Варламия-еретика
отпели ангелы Руси,
и приняли ее века.
Надгробных не было речей —
он так хотел — и в крайний час
от слез и фраз и стукачей
избавил и себя и нас.

МИУССКИЙ СОБОР

Красноватой окутано мглой,
полстены нависало скалой,
и чугунная бита
исторгала из монолита
совершенно невысшимый гул:
то стонала
колокольная кладка.
Помню судорогу скул,
пылевого осадка
красный иней
и прах
на зубах.
Помню темный искус:
да взорвать эту глыбу!
(Мы дети).
— Где звонят?
— У Миус, —
надо было спросить и ответить.

Не достроенный к Первой войне,
ко Второй был собор не долман.
Нам внушали презрение к старине,
страсть к разгромам.
Мы дышали с младенчества
силикозною мглой.
Мы не знали отечества,
но годились на смертный бой.

В окруженье элитных хором
у Миус нынче Дом
Пионеров (и школьников просто)
и скульптурная группа при нем.
В ней писатель, воспевший «Разгром»
и столь страшно и поздно
разглядевший в дыму,
что его обманули.

Да зачтется ему
покаянная пуля.
Вот стоит он — бубновый туз —
грудь вперед — это в методе-стиле...
Не по нем ли звонили
тогда у Миус?
Не по нам ли звонили?

СТАНСЫ

*Легкий дымчатый зверек
Божья пушинка.*

Вл. Трофименко

Доживает в коммуне родитель
при живом озабоченном сыне,
приезжающем в эту обитель,
проходящем сквозь взгляды косые.

Это дом электрических грелок,
долгих мыслей, мучительных спевок,
дом нетронутых стылых тарелок,
здоровеющих кухонных девок.

Пожилая жена без протеста
той, которая много моложе,
оставляет нагретое место.
Муж пришел и зовется «прихожий».

Вот беда: старикан не стареет.
Он глядит непонятно и мимо
из-под пальмы, которая реет
иглоперым крылом серафима.

Это дом, где великое время
разъясняется всем как проклятье —
накрывает, ревущее ревмя,
разогнавшись бугристую гладью...

Вот чета старичков. У обоих
вдруг завздрагивали подбородки:
то опять навещает их боль их —
то уж подлинно Божьи сиротки.

Грех подумать, какая морока —
всякий день поутру просыпаться...
До могилы дочерней далеко...
Надо ехать — и там закопаться.

Но копают им братскую яму —
их коммуну последнюю, ибо
ни креста, ни стыда и ни сраму
помраченные годы не имеют.

Для души бессловесно-бессонной —
Троицын храм, уцелевший ошибкой,
ключ в овражке под красной часовней,
в парке белочка — Божья пушинка...

О СЕМИ ЦЕРКВАХ

Надежде Ивановне Катаевой

Через дорогу дерево росло
и делало проезд негабаритным.
Когда-то был еще прямой ствол
защитной взят оградой обручальной,
потом железо облегло кору
и потонуло в деревянном теле,
но выходило ржавчиной листвы
по осени лет сто. Потом поклоном
земным оно прощалось год за годом...
Срубили дерево, и я с трудом
то место нахожу. Стою, смотрю,
и призрак дерева передо мной
стоит и клонится, и сквозь него
машины мчатся.
А наискосок
с чугунными решетками на окнах
в броне гранита виден зиккурат:
он тоже призрак, ибо, как свеча,
в нем церковка снесенная белеет.
И Поварская о семи церквах
лежит, одетая еще в булыжник,
вся еще дышит. От Бориса-Глеба
свернем к Николушке-на-Курьей Ношке*
в Борисоглебский. Вот Маринин дом,
где вечно новоселье, шум и гомон.
— Как, девочка, тебя зовут? — Ирина
Сергеевна. Теперь я не умру
и призрачные годы не наступят...

*На кривой меже.

Нагая тишина безветрия.
Три сотни окон спят в стене,
и нищенская геометрия
еще беднее при луне.

Еще беднее и бездарнее —
напротив и наискосок
супружеская брань базарная,
где женский голос так высок...

Не первый день живу на свете я:
утихомирится жена,
утихнет драма.

А трагедия —
невидима и не слышна.

УГЛЕБОХИ*

Ахсану Баянову

По арифметике без оговорок
из десяти отпущенных семерок
спустил я восемь, спешный человек,
но приглядел на родине пригорок
на стрелочке сливающихся рек —
искал обетованные места.
Здесь бредина, черемуха, рябина
цветут по очереди. Красота!
И вспомнишь: велика же и обильна,
и поглядишь: безлюдна и пуста.
Название удостоверяет: Пустошь.
Внизу подпор, задумалась вода.
Однако, мать, отсюда никуда
ты не сошлешь меня и не отпустишь.
Удачи всякой тем, кто подались
искать краев довольных и свободных,
а мы, Ахсан, так метко родились,
что отнеслись к отряду земноводных.
Куда уж нам! Не то чтоб якоря
загрузли навсегда в глухих затонах,
но тяжко над душой стоят «моря»,
природа нетверда в своих законах,
и нынче жабрами души — отнюдь
не фибрами, которых не бывает,
придонную перепускаешь муть,
что пепелища детства укрывает.
По лестнице ламарковой до дна
дошли утопленники-углебохи —
военных лет голодная шпана,
живой состав, отстой и шлам эпохи.

* Ухлебавшиеся (церковносл.), утопленники.

Осенний муравей
олонецких кровей
куда-то волочет
бревно по кой-то черт,
тропу свою кропит,
цедя последний спирт,
пока мурашник спит,
поскольку холода
и хмурый день как ночь —
зачем бревно волочь
от общежитья прочь
неведомо куда,
иль выйти просто так
с собой наедине
не можешь ты, чудак,
без ноши на спине?

А.К.

Я вышел из унылой гари
на место свежее, где тек
во льду и хвое светлокарий
и темнокарий ручеек.

Светилось донце золотое.
Весна запаздывала. Я
напился зимнего настоя,
сказал, что я тебя не стою
и поглядел в глаза ручья.

Еловый бор неколебимо
стоял и слушал — и одно
я повторял: мне все любимо,
мне все любимо, все — равно

любимо... Благорастворенье —
проклятье верное мое...
И в чашу вновь вошел я тенью
и светом вышел из нее.

Четвертый час, когда колдуют сны.
А солнышко восходит со спины.

Посвистывает резвая коса.
Взмах — и обрушивается роса!

Я подарю Вам страх и слабый вздрог,
и вздох травы, и радужный парок

над нею — то видна душа цветов —
я этот миг для Вас продлить готов.

Часам к шести, усталый, с полосы
я приношу Вам радугу росы.

Давайте ей немножечко воды.
Три благодати в ней и три беды —

пускай цветет. А где же средний цвет?
Не вижу сам. Нет середины. Нет.

БЕЛОРУКОВО

Тощая прожорливая сквозистая земля,
холмики, проталинки, сивые поля.
Солнышко насупясь поглядит на супесь,
исподлобья глянет, из-под февраля.

Первый лед на речке, пожня под рекой,
где сивун-подшорсточек никчемный-никакой.
Сивая плаксивая сивун-трава.
Не о сенокосе ли болит голова?

Поутру-морозцу — чу! — тетерев гулит,
рассыпает по оврагу ландышевую трель.
Травушку не хают, водушку не хулят,
хоть сивун те, хоть лишай, земляная цвель.

Семь домов, десяток душ, четыре коровенки.
Лен-заводик развалился и давно затих.
Прошлого останки, полова-одонки —
кабы только не обидеть стариков моих...

Стариков-слабаков зайцы залягают...
Все бегом ты, бабка Ольга — панешь на бегу!
Добегут до пенсии — дальше не смогают,
но велит им родина через не могу.

Резко пахнет давленная хвоя.
Под ногой пружинистый сугроб.
Место боровое, моховое.
Лесоруба кроет лесороб:

— Здесь тебе деляну дали — или
там твоя деляна, в душу мать? —
Что орать? В «жестянке» полбутыли,
ну чего комедию ломать?

Содрогался бор моторным рыком,
оглашался бор притворным криком,
а теперь, с беседой вполпьяна,
все ушли. Настала тишина.

Небо разгорается над бором.
Дятел отдолбил и спит в трухе.
В елке хохлится и дремлет ворон.
Дремлют звуки — шепчутся в стихе.

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

I
Сплю и складываю печь.
Просыпаюсь от догадки
дыма женские повадки
глиной-кирпичем облечь.

Днем уверенно кладу
путь лукавый из-под свода:
эта гибкая свобода
любит крепь и тесноту.

II
Эта воля любит власть,
а не хочет из палатки
в борова подпечья пасть,
чтобы, сделав три охватки,
небольшую дать свечу,
вновь нырнуть — а там из плена
вырваться восьмиколенно...

Или — многого хочу?
Или ты еще сырая?
Вновь не сплю, перебирая
всю тебя по кирпичу...

III
На два полных этажа,
на три света сруб тесовый.
Распрявился хлыст сосновый,
печи мощные держа,
рас-сутулился — и год
врублен: тысяча семьсот...
Вырублен остаток даты
рыбаками на смольё.
Вольница, орел, оратай,

твой портрет — твоё жильё:
пожни, двор и огород,
гряды каменные — межи...
Пущен в дебри заонежьи
добрый корень. Где же плод?

IV

Толща храмовой стены
дымоходами чревата.
Не остыли валуны,
раскаленные когда-то.

Хоть погибло ремесло,
но стоит, стоит не стыня,
соловецкая святыня,
держит старое тепло.

V

Кольхаясь в полумраке,
печь по горнице парит,
бревна зыблет и багрит,
по полю кольшет маки.

Траурная бахрома —
сажи бархатная тьма
звездочками выгорает.

А душа не умирает:
в памяти и при огне
совершается во мне.

ПОСАД

Иллариону Голицину

Снегов слепящая полуда,
по настам — росяная скань.
По солнышку плывет, голуба:
чтобы глаза не расплескать,

движенья важны и покойны...
И невозможно верить мне,
что голод, лагеря и войны —
все было в этой стороне.

В апреле на свету истомно
и парко. Нежится посад.
— Как звать тебя? — Назвали Домна
Парфентьевна сто лет назад.

Она добавит: «Ваша милость» —
лет через сто в такой же день,
где ничего не изменилось
и эти, голубые, всклень,

всё так же бережно несомы...
Несите, насты, жаркий свет,
неси, тюрьма, свои засовы,
свои сокровища, поэт.

Парфеньев

СТРАДА

Фазилю Искандеру

Ох, лето!

Грядки, пожни, печи, дом...

Крестьянским вечным ломовым трудом

недуги буйной родины врачую

вплоть до трескотины и почечуя —

извольте мне простить — сквозь пот лица

не вижу лета! Нет ему конца.

В глазах туман: смешались свет и тьма,

частит и пляшет рамка-бахрома,

и **КРУПНО ВСЕ**. Не так уж плохо, впрочем,

явиться Господу разнорабочим.

Но начинается тоска ума.

Так говорит астафьевская мать

уполномоченному в коже:

нам — вас кормить, а вам — нас убивать.

Намаешься и думаешь похоже.

Старуха **КРУПНО** выхватила суть:

корми воров и веруй, что Россия

твоим трудом спасется. У Фазиля —

всегда Фазиля рад я помянуть —

как в букваре: *ты есть то, что ты жрешь*,

что — сытый — у голодного сопрешь.

Ремень с утра потуже затяни,

утешься доброй мыслью и смекни,

что сок земли, ее животворящий,

сочится по вискам и каплет с век,

пока ты жив, пока ты человек

благоразумный, прямоговорящий.

ВРАГ СОЦИАЛИЗМА

Играючи и не со зла,
но как-то слишком шатко
мальчишку с места понесла
и скинула лошадка.

Вся уличная ребятня
в восторге завопила,
но лошадь, уронив меня,
и шагу не ступила.

В те годы, ЛОШАДЬ, ты была
ВРАГОМ СОЦИАЛИЗМА —
его подрыв и ты вела
хитро и закулисно.

Подорванный социализм
в большом-большом упадке...
И был бы счастлив я плестись
в хвосте своей лошадки,

того худого меринка,
что от работы плачет.
И буду счастлив я, пока
меня не раскулачат.

НЕ ОГЛЯНИСЬ

Позабьтыми на лбу очками,
строчками, теряющими связь —
старость приближается скачками,
по дороге медля и таясь.

Все-таки избегни анекдота
или запоздалого греха.
На тебя затеяна охота,
местность потаенная глуха.

А не здесь ли ты капканы ставил,
слушал лес и замирал, как рысь?
...Ни охоты, ни игры, ни правил,
кроме одного: **НЕ ОГЛЯНИСЬ.**

То-то зябко, парень, то-то дрожко,
ноги через силу волоча,
знать, что эта более чем кошка
ниоткуда рухнет на плеча.

Совушка прошелестела мимо,
мягкой тенью прынув надо мной.
Все, что было мило и любимо,
вспомни возле теплоты ночной.

Жизни имена перебирая,
словно четок рвущуюся связь,
 удержи коротенькое **РАЯ**,
у костра усни, перекрестясь.

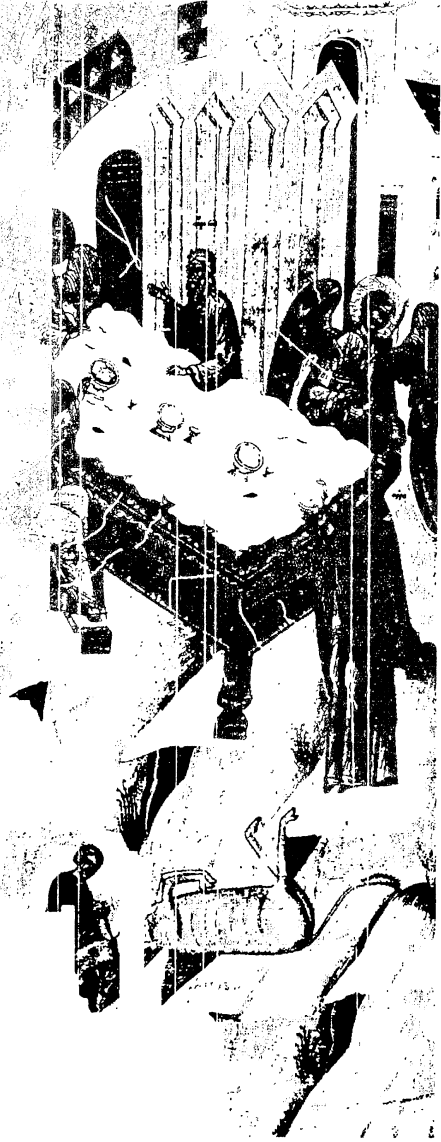
ДОМ

Спасибо за то,
что тонок и звонок,
что плачет ребенок
и лает собака.

Значенья лишены
случайного слова —
за пеленой стены
лишь музыка — едва...

В поле настольной лампы,
будто издалека,
будто чужая — эта
прожилистая рука.

Разогнутая тетрадь.
Лая собачьего,
шума ребячьего
милость и благодать.



IV





Жанне

Что женщина не виновата
и вне закона и суда,
я уяснил себе когда-то
и повторяю — как тогда.

Грома гремят и хлещут ливни.
Сейчас звонок: «Вы жизнь спасли мне...
Алло... Благословляю Вас...»
Стихами — я — кого-то спас?

...Со мной мой многолетний ужас:
я погубил тебя... И — вот!..
На жирную брусчатку рушась,
расплескивается небосвод.

Так мне — возмездие? И тайна,
и милость велика сия...
Душа моя сентиментальна.
О Господи! Стихами — я —
спас человека...

НО ТОЛЬКО ТАК

Лене

Здесь нет любви,
но есть семья,
и есть в семье четвертый лишний —
друг дома, человек-змея —
но только так хотел Всевышний
и дьявол так хотел,
и я,
и ты,
ты, соль моя земная
всей крови пресной бытия!

Не мог я жить тебя не зная.
Как мог тебя покинуть я?

На небе сумрачно и гневно.
Я повторяю ежедневно
и повторю я в День Суда:
да —
я не помешал тогда
отчаянной свободе женской,
да,
я три жизни рассудил,
как Ты, Который остудил
мне лоб прохладю вселенской.

Ты волен чудеса творить —
изволь же век мне
повторить:
увы, он будет столь же грешен...
Ее — Ты дал мне навсегда.
Как друг-соперник,
в День Суда
Ты будешь так же прав и бешен!

ВИЗИТ К ПАСТЕРНАКУ, 1937

Э. М.

Он разумел помимо книг,
что тело — *первый ученик души*, и потому, свободно
владея возрастами, жил
всем трепетом желез и жил
в готовности к чему угодно:
и к лагерям, и к высшей мере —
вот... этот снимок *на пленэре*.
Вот — он в пилотке, сед висок,
лицо солдата пожилого,
который вынес все, все смог,
что может и выносит Слово.
И больше: он имеет власть
погибнуть раньше, чем упасть
и молодыми желваками
впечататься в надгробный камень.

Вожатый был коленоглав
и круг над лысиною темен,
и след ведомых был кровав —
от лагерей, каналов, домен.
Хотя не терпит мемуар
того, чем вольно дышит Муза,
однако Секретарь Союза
и есть губитель Велиар!
А этот... В сапогах, с лопатой,
мальчишка в сорок семь-то лет,
(замаскированный кадет,
как думает о нем вожатый,
на пустяки погублен дар...)

И было дело о соблазне
с народным одобреньем кар
и требованьем смертной казни...
воззванье надо подписать,
перетворяя зло во благо,
чтоб те, кто станет воскресать,
узнали руку Пастернака.
Осуществитель этих мер —
лихой казак, большой удачник,
Генсек СП СССР,
орденоносец, раскулачник,
чья правда *посильнее смерти**,
коль пухла с голоду Кубань...

И как-то каменно губам
и страшно холодно в предсердьи.
Он выставил их тот же миг,
им выпятя вдогонку челюсть —
их сквозь — сюда и напрямик
глядит, мучительно сощелясь...
Стоит. Один. Конец игре —
он сделал шаг — он близок к краю
и сыну скажет на одре:
непримиренный умираю.
Я этот пастернаков грех
не променяю на спасенье.

Февральский слезный сотый снег.
На даче правят новоселье.
Опомнившаяся страна
кусает локти и ликует.
На сценах, на экранах, на
могилах! — плещет и токует
тот неизбежный тамада,
кто в злые дни молчал как цуцик —
понеже не бываху в руцех
живага Бога никогда.

*«Сильнее смерти» — книга В. Ставского.

...Убрался штурмовой отряд,
но Пастернака *подписали*...
Архивы врут и не горят.
Нет подлости под небесами,
какой бы не изобрели
властители моей земли.

А он стоит еще с лопатой,
на то мгновенье нем и стар.
А дома ждет его кошмар —
укоры, вопль жены брюхатой...
Валялась у него в ногах —
и волосы на сапогах —
он думает: как Магдалина...
Он говорит: *какого сына*
родит подлец?.. Ох, не впервой
перекрывает женский вой
его слова... Ох, роды вскоре...

Он на нее глядит — как в море.

ПОРТРЕТ

Зое Маслениковой

В словах и в бронзе тот портрет.
Портрет — в судьбе мемуаристки.

*Судьба людей, поэту близких,
есть некоторый танец-бред.*

В бору кремневая сосна
у комля сушит все живое
широкой кроной корневою
и за десяток верст видна.
Белесый вытертый мошок
пометил тощие пределы.
Сосненок вылез на вершок —
никчемный, хильй, оробельй.
Идет наверх могучий всток,
щедра и скаредна природа.

...Ей стоил творческий восторг
семейной драмы и развода.

Впечатывались кулаки
в живую мякоть пластилина,
и расшибалась на куски
лелеемая слезно глина.

Дочь возрастала без отца
и с матерью полублаженной,
торжественной и оглашенной
Богоприсутствием Певца.

И вламывались к ней в подвал
подговоренные подростки*,
и жалкой грудой известки
портрет любимый предстал.
Непостижимо — но опять
все возникало первозданно!
Не странно ли, однако? Странно
не более, чем Благодать.

И длится, длится танец-бред
по смерти гения, и нет
конца ревнивому злословью
и насыщения уму...
И лишь одной своей к Нему
благоговейною любовью
художница отдалена
от этой сутолоки пыльной
в оградке тесной и могильной.
Такая — ты Ему нужна.

* Мастерскую Э. А. Маслениковой, создателя бюста поэта и автора книги «Портрет Бориса Пастернака», громили не раз. Надеюсь, что портрет Александра Меня, чьим редактором и духовной дочерью является Зоя Афанасьевна, избежит участи оригинала.

Все одна и та же сила
в поле травы всколосила,
и себя перевозмогла —
и слова произнесла.
Замела поля кривые,
где оранжевую выю
отморозил агрегат,
комбайнеру невдогад.
Накопаю дров ольховых
в голубых снегах пуховых,
лед метровый прорублю,
камеленку протоплю.
Все одна и та же сила
жар со стужею смесила,
по снегу бегу босой
да за русою косой!
Поведут ее за гробом...
Лед рвануло под сугробом!
Эхо глухнет в берегу —
все мне любо,
все могу!

ДВЕ СТРОКИ

Лесе

Я загадал на Тебя.
Вот что сказал мне Исая:
ИЛИ СПАСЕШЬСЯ СПАСАЯ,
ИЛИ ПОГИБНЕШЬ ГУБЯ.

Много чудесного знал
сын прозорливый Амосов,
но посторонних вопросов
я ему не задавал.

ЯВЛЕНИЯ И СИЛЫ

К. Постнову

Я выпил кофию полкружки,
печь затопил и вижу в ней
над грудой сыроватой стружки
такое облачко огней.

Оно кудряво и лохмато,
все искрами просквожено.
Висит отдельно — сублимато —
понятно? То-то и оно.

Катается по своду, виснет,
в нем озаренья — как в мозгу...
Я вижу, что матерья мыслит —
еще раздую — помогу!

Крутом явления и силы.
Я дунул — и огонь погас,
и плавают круги и пылы
у самых глаз. А как у вас?

Огонь дымил, огонь томился
и вымахнул под потолок —
и оттолкнул — и о-бо-лок! —
чтоб я живым огнем умылся.

РЕЙНГЛАС

Е. Р.

Скажи, ты помнишь, Рейн,
то братское вино?
И кто из нас еврей,
еще не решено.

Не глядя в потолок,
не шаря под столом,
бутыль ты уволок
с пристойного банкета...
И пили два поэта
на Пресне за углом.

А горлышко отбито
и вовсе знаменито:
неуследимый твой
единый взмах короткий —
и горло с глупой пробкой —
долой!

Мой дорогой!
Глотая и трезвея,
в тот озаренный миг
в себе я иудея
и Русь в тебе постиг.

Стекланный, впрочем, бой
был мелочен и хрупок,
но важен был — поступок!
Стекло в зубах дробя,
я полюбил тебя
умом и дурью русской —
все знавшего про нас,
хрустевшего закуской
по имени Рейнглас.

ЗАПОЗДАЛЫЕ СТИХИ

Я. С.

Темна душа людская, как п у з ы р и з е м л и:
зачем она — Ланская, не Ваша — Натали?
И с нею — хоть убейся — не быть накоротке.
И ревность и плебейство мешаются в строке.

Но умолкают сплетни — Вы это знать должны, —
когда усиьем смерти спасают честь жены.
И на другой странице, и через много лет
пред нею извиниться Вы не сумели, нет...

С душой хмельной и косной, возможно, что за час
до исповеди грозной оставили Вы нас —
угрюмый, вислоносый, гугнивый, испитой —
с чугунной гиблой прозой и лирой золотой.

В ЧИСТЫХ ПЕЛЕНАХ

Держит путь бродяга книжник
тыщу лет назад.
На боку лежит булыжник,
изнутри — агат.

Камень грубо запеленут
непроглядной пеленой.
Сделай срез — глаза потонут —
верный срез волосяной.

Нежно-перистые круги,
облака-материки...
Разреши его от муки,
рас-секи!

Наклоняется, не слышит,
заслоняется плечом.
Быль и небыль в книгу пишет,
остается ни при чем.

Гонит поп, и мир не примет
душу странную твою.
Свято Озеро обымет,
бор затянет литию.

Рукопись в холсты укутал
вологодский Дамаскин.
Божеское перепутал
с че-ло-ве-че-ским.

Выходило, как хотело,
словно в легких снах...
Рукопись окаменела
в чистых пеленах.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

содержанья охранного,
жизия ради странного и сугубого сыска приставного
мною составлена.

Филология, помоги в кровь не драться!

Не о Боге я, братцы, хоть его попущением

хульны ереси на нь писахом...

**МЫ ОБЯЗАНЫ ПРОСВЕЩЕНИЕМ НАШИМ
ЧЕРНЫМ МОНАХАМ.**

Связным времятечением — тем писателям и ученым
в постриге, в облачении белом и черном.

Не оставивший имени паче славного нарекает —
и к родимому вымени всласть принимаем.

Перемазаны киселем-кашей — ликование и резвость!

**ЧТО Ж КУСАТЬ НАМ ГРУДЬ КОРМИЛИЦЫ
НАШЕЙ —**

ИЛИ ЗУБКИ ПРОРЕЗАЛИСЬ?

Мы обязаны словом — малым школам приходским,
темным книгам крестовым,

Дамаскинам своим безымянным — тверским,
вологодским...

ЖИЛ-БЫЛ ПОП — НЕГОДЯЙ ДУХОВЕНСТВА.

Филология, помоги,

тут кричит неравенство

и синонимы суть враги.

Кто кому что наследует? Как себя понимает?

Только с Богом священник беседует —

поп начальству внимаает

и последнего русского евангелиста

так с амвона поносит — святых выноси...

ДУХОВЕНСТВО РУСИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧИСТО.

70-е годы

НИКОЛА-КОЛОКОЛ

*...на Вохме построена в 1784 г.
церковь на месте, где слышали звон;
в 1845 г. она сгорела со звоном.*

В. Даль

Подковой брошенной блестит курья:
прогнали Вохму-реку по прямой,
и вопли земноводного зверья
тревожат слух или рассудок мой.

*Рассудок должен быть велик — таков
завет поэта. Вот и мужики
тот колокол везли на переков,
но рассудили ехать до реки,*

*до омута... Сюжет совсем не нов,
но голос обрела немая тварь.
У благовеста тысячу тонов
улавливает музыкант-звонарь.*

*Угадывает гениальный слух
лады и тоны внешней немоты...
Невероятный дар или недуг
запечатлели нотные листы.*

*И значит, жизнь со смертью заодно
и звук немой прозрачен, как кристалл.
Никола-колокол ушел на дно,
но отзываться нам не перестал.*

*Диапазон его тонов и нот —
небывшей жизни щедрые черты,
нужда души протяжная — ди ноот...
С утратою славянской долготы*

мне помогал рачительный остгот:
без языка оставили меня,
родимой речи величавый ход
побежкой суетливой заменя.

Места родные — звуковой провал.
Молчит округа — а вовсю заря...
Три поколенья перебеждал
Никола, ожидая звонаря.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛЕД

П. Краснову

Свободно, где бетонка прогнута,
ты выжал около двухста,
и сзади запоздало дрогнула
озвученная пустота.

Через промоину отлогую
перелетел широкий мост.
Никто не видел тень обогую,
спускавшуюся под откос.

Степные сумерки такие вот —
пора блуждающих теней.
Лети, лети себе до Киева,
да не убейся, не убей...

Светло горит звезда вечерняя,
повиснувшая невдали.
Исходит слабое свечение
откуда-то из-под земли.

Укрыто место и ухожено,
черно кудрявится погост.
Со всей округи обезбоженной
старухи тянутся под мост.

Там образок, лампадка зыбкая,
игра теней на потолке
и паперть щебнистая, сыпкая
спускается к сухой реке.

Нездешний ужас всех охватывает —
спаси, Христос, спаси, Христос! —
когда по кровле прогрохатывает
какой-нибудь тяжеловоз.

Но гром прокатится карающий —
и все звучит, сходя на нет,
какой-то струнный отзвук тающий,
какой-то музыкальный след...

МГНОВЕНЬЕ СЛАБОЕ

Гляжу на безобразье сброда:
р а с п н и — вот ясная нужда.
Отец небесный, нет народа
и не бывало никогда.

Меня гнетет их помраченье,
их немладенческое зло.
З а н и х погибнуть — тяжело.
Горька, Учитель, соль ученья...

Здесь ничего вместить не могут
мозги Матфея и Луки.
Здесь останавливает омут
теченье ясное реки.

Ленивое веретено —
и неизбежное одно
вытягивается мгновенье,
и сладок обморок сомненья.

Все бесконечно все равно
частице темного круженья.

...Вперед, мужи! Во имя братства
и милосердья впереди!

Теперь
 спокойно
 перейди
горы сутулое пространство.

Отец, прости мне святотатство:
мгновенье с л а б о е прости.

П о р т р е т ы**БАРАНОВСКИЙ**

Архитектор Барановский
влез на Сухареву башню,
вознамерясь, очевидно,
вместе с ней взлететь на воздух,
но его оттуда сняли
люди в штатском и военном.
А как за бороду тащили
да за долгое пальто,
все кричал он: ИЛИ — ИЛИ!
Как его не посадили?
Было все-таки за что.
— Посадили, посадили...

В черной стеганке спина —
площадь Красная — тесна
с мавзолейной точки зренья.
Заказали взрывпакеты,
изготовили макеты:
вот малютка-мавзолейчик,
вот Блаженный в два вершка,
Исторический музейчик,
проходящие войска,
человечек-муравейчик.

И теперь Иван Великий
по колено Микояну,
место Лобное — нашлепка
чуть поболее пятака.
Простирается РУКА —
хоп! — и дырка на макете!
Хоп! — возносится Блаженный...
Тут как рявкнет архитектор
Петр Дмитрич Барановский,
ощутив на сердце мрак:
«Поставь на место, дурр-рак!»

...Разве думал Барановский
о простых народных нуждах,
поновляя закомары
Божьей Матери Казанской?
Все снесли до основанья,
а затем как раз на месте
сломанного алтаря...

Долго жил — и жил ты зря.
Оснащен подвал алтарный
для нужды элементарной.
Где ты ладан обонял,
там зажмурился повинно:
нашатырь и мочевина
довели тебя до слез.

И сортир пошел на снос!
Помрачения ума
тоже, в общем, скоротечны.
Петр Дмитрич, Вам сама
наша Вечность подопечна.
Вам довеку с мастерком
по стенам пластаться надо.
Это ж сила: Федор Конь,
Вы, да мы, да тут бригада —
починяем Соловки —
зубры! а-ка-де-ми-ки!

Хороший парень. Милая семья.
Извелся: как там приработать денег...
Ах, эта добродетель не моя —
хорошая такая добродетель...

А к ночи сон его сбивает с ног.
В полгода раз он пьян — подумать тошно...
Опять не мой — жаль, что не мой — порок:
похмелье все-таки благонадежно.

Мы дружим. Все у нас как у людей.
Меня своей моралью допекая,
он совестится, мучится — моей...
Моя мораль? Помилуй Бог — какая?

Довольны им работа и семья,
и верная любовница довольна.
Что делать мне с тобою, жизнь моя?
Мне ничего нельзя — и все дозволено.

ПОЛЕТ В ПОЛЕТ

Я должен описать его полет:
не то чтобы, как камень, он падет —
на взмыве ветра
он стоит, как камень.
Под ним, как тень,
таймень стоит в волне —
в капризной волокнистой быстрине,
чуть пошевеливая плавниками.
Вот так природа мне моя велит:
полет — в полет.
Так я во время влит.
Полет — в полет. Такое многоборье.
Одолевая натиск лобовой —
полет — в полет!
над каменной Москвой —
клоню,
клоню и правлю к Беломорью.

Близится солнце вечернее,
позолотилась трава.
Сбудется ныне — реченное
через Ивана-волхва.

Брата ль не знаете нашего?
Слеп оговор и жесток.
Смерть без вины ты вынашивал,
как человеческий росток.

Солнце усталое низкое
весь обагрило притвор —
ангела церкви Сардийския
слышится плач и укор.

ПЕРВЫЙ УЧЕНИК

Ну что же, Петр, ты размыслил здраво
и ты души пред миром не таи.
Ты уцелел, чтоб совершить во славу
Учителя — деяния твои.

Ты поступил как муж. А Он — ребенок —
предался им, и крест Его давил...
Страдали вы и ежились спросонок —
а Он тебя уже благословил

на первое деянье. «Отречешься» —
сказал как приказал. И повторил.
Послушный, ты отрекся. Не тревожься,
апостол: ты как надо поступил.

Но каждый раз на петушиный окрик —
небесная полоска голуба —
в мозгу твоём шевелится апокриф
и пятится назад твоя судьба:

ты молод, ты не написал ни строчки,
от рая не видать тебе ключей,
ты не отрекся, ты без проволочки
тогда предался в руки палачей.

И залегла грядущего основа
совсем иная, надо полагать.
Имел ты дар: КОГДА ДОШЛО ДО СЛОВА,
ТЫ НЕ СОЛГАЛ, ТЫ НЕ УМЕЛ СОЛГАТЬ.

З а п и с и**ДИАЛОГ**

— Книгу доблестных ЖИТИЙ
перепиши набело:
много важных ЗАБЫТИЙ
ИСТОРИЧЕСКИХ произошло.
Перепиши ничейные,
ложные, отреченные,
синодальным крестом
придавленные
чудеса и предания —
слышишь стон?
сложишь в стол.
Будет книга начала начал,
где ТАТАРСКОГО МИГА
праведник не замечал...
— Страшно!
как не сумею!
Грешен весь и убог...
— Яко на Идумею
простру на тя Мой сапог!

З а п и с и**ВСТРЕЧА**

Узнаю:

это ты Мне работал горбом
и не звался рабом
при недостатке никчемных послушливых чад:

Только лбами стучат!
Только милости просят Моей в простоте,
и особенно те, что не жнут и не косят.

Ты не хилым пришел стариком:
с топором, с мастерком —
что ж, трудись и немотствуй...

Я ведь Сам никого ни о чем не молю,
да и н е к о г о Мне. Всяк сиротствуй,
кого Я люблю!

Ты Моею был волею прав, и страданьем права
при живом еще муже — вдова.
Ею, чистой, продолжил ты род свой.
Утешителя ангела к ней ниспошлю...
Всяк терпи и сиротствуй,
кого Я люблю.

Я о детях... поплачу тайком,
если что-нибудь значу
на Престоле таком.

ПЕСНЯ

Ан. Жигулину

Кабы дали три жизни да мне одному,
я извел бы одну на тюрьму Соловки,
на тюрьму Соловки, на тюрьму Кольиму,
твоему разуменью, дитя, вопреки.

По глухим деревням Костромской стороны
исходил бы другую, ХОЗЯИН И ГОСТЬ,
на студеной заре ранней-ранней весны
в сельниках мне так жарко, так чутко спалось!

Ну а третью отдал бы черно-белым горам,
и друзья бы меня величали: Ладо...
Сколько раз бы я жил, столько раз умирал,
ну а как умирал, не видал бы никто.

Я бы так умирал, как заря ввечеру,
уходил-пропадал, как больное зверье...
Только раз я живу, только раз я умру,
а потом я воскресну во Имя Твое.

ЧАСОВНЯ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ В ПАМЯТЬ ЕЛИЗАВЕТЫ ИВАНОВНЫ И ЕКАТЕРИНЫ ИГНАТЬЕВНЫ КАЛИНИНЫХ

До края чаша налита
и пролита — пиши.
Точу топорик на лето —
чинить карандаши.

Что звоном, что закалкою
он радует меня.
А с плотницкой смекалкою
все прочие — родня.

В каноне есть особинка,
в свободе есть закон:
растет в бору часовенка —
под двадцать пять бревён.

От кия и до клотика
задорно внесена
олонецкая готика
с развалом в три бревна.

Крыльцо, оконце, крышица
и маковка над ней.
Качнешь — она кольшется
от высоты своей!

ПЕРЕЖИВИ!

Моя горячая молитва
сегодня та же, что вчера:
пошли мне мальчика, элита,
дитя исторгни из нутра,
чей дядя самых честных — грабил,
чей папа дядю убивал,
но родственнику не потрафил
и все-таки несдобровал...
Пусть мертвецы отцы и дяди
грызутся сами по себе —
внуши разумному дитяти
все, ненавистное тебе!
А он уж книги пожирает
в своих библиотеках-спец
и для начала презирает
весь род людской.
Но ты, отец...
Все зашаталось, мальчик милый,
на страшной хляби — на крови.
Но не стреляйся над могилой —
переживи, переживи!
Он опрокидывает плиты:
лицом — во тьму!
Лицом — во тьму!
Пошлет мне мальчика элита
и в спину выстрелит ему.

ПАЦИФИСТЫ

Ученье Ганди их вело
 и мудрость поздняя Толстого —
 отказ от грубого и злого
 в ответ на вековое зло.
 На Главной площади в молчанье
 протягивают нам они
 свои прекрасные воззванья
 молитвам и стихам сродни.
 И мальчик — не пройдет и года —
 один полезет на рожон
 и перед глыбой Пентагона
 как Палах, сам себя сожжет.
 Смутится на минуту пресса
 средь пошлости и чепухи...
 Пусть по тебе мои стихи
 звучат, как траурная месса.

НА РОДИНЕ МОЕЙ БОЛЬНОЙ
 НАРОД НЕ ЧУВСТВУЕТ ПОЗОРА.
 ОГОНЬ ПОЛЗУЧИЙ НУТРИНОЙ
 НАРУЖУ ПОЛЫХНЕТ НЕСКОРО.
 НЕ ТРОНУВ ЗЛЫХ, ДУРНЫХ, ЗАБЛУДШИХ,
 НИ ТЕХ, КОМУ ХОТЬ ВСЕ СГОРИ, —
 ОН ВЫБИРАЕТ САМЫХ ЛУЧШИХ
 И ПОЖИРАЕТ ИЗНУТРИ.

И от Вьетнама до Чечни —
 ни времени, ни расстоянья —
 лишь одинокие огни
 святого противостоянья.

XI

Костюм

СЕГОДНЯ*Э. Неизвестному*

Мне делиться в летящий день
мешает творческая лень.

Не вижу ни «вчера», ни «завтра»,
а только чувствую, что правда

навылет — и не чью-нибудь —
мою же пробивает грудь!

А в этом деле, братья-внуки,
не столько правды, сколько муки,

и между завтра и вчера
такая рваная дыра...

ВЕСНОЮ ПОЗДНЕЙ

Меня похоронили малoverы
в дешевом склепе сплетен и клевет —
меня кольшут не такие ветры
и корни держат не такие — нет!

Мыслители, могильщики, пророки!
Деревья живы на три стороны —
так светом вскормлены, так разнобоки.
Я попрошу: не стойте со спины.

Да не жалейте — вы — меня: я встану
из гробика готовенького, чтоб
сработан был, как древле Иоанну —
просторный и крестообразный гроб!

Перегорев и перетлев душою,
с самим собой, с природою правдив,
я грянусь оземь — дерево большое —
весною поздней, в листьях молодых!

ОРЛИНОЕ ПЕРО

Септемвриа двадцать шестого
все семеро учеников
ведут наперсника Христова —
им радуется Богослов.

Уже стоит в виду Ефеса
короной — свет со всех сторон,
как та полярная завеса.
И смерти радуется он.

Столетний разум тверд и ясен...
И повелел, глаза смежив,
гроб истесать крестообразен
и в оном ПОГРЕБЕСЯ ЖИВ.

И то, что век ему служило,
спросил орлиное перо,
затем что ВРЕМЯ СМЕРТИ — ЖИВО,
а не мертво.

И явственно еще и слабо
он говорил свои слова,
егда возлег крестокрылато...
Но все бежали от волхва.

Тяжела и вязка
малодушная ваша порука.
Хоть нога, хоть рука —
а хоть оба обрубка!
Так седой лисовин
отгрызает зажатую лапу —
не бегите за ним
по кровавому крапу.
На своих на двоих по прямой,
слава Богу, покамест.
Задыхается мой
разностопный анапест.
Черногрязем, родным непролазем,
живьем ухожу.
Сяду на пень, сырого гриба съем —
одолжу
знатоков ресторанных,
из лесной колеи
пригублю золотого аи.
Помолитесь о странных,
родные мои.
Мне водица сладка,
гриб не горек,
и на дне пестерька
друг — топорик.

ЗАЗОР НАД ПРОЗОЙ

А. К.

Мгновенье первое неповторимо:
ты с трапа прыгнула, ты балерина,
вся в голубом, и говоришь: *классичка*,
и костромское кругленькое личико.

Июль был наш: Москва — Владимир — Суздаль...
Не для тебя меня Создатель создал,
а для кого — тебя? Спроси Его:
для танца только. Только для него.

И если ты летала по паркету,
я это понимал: тебя здесь нету...
Да будет славен тихий город Буй,
откуда родом ты. Летай, ликуй!

Упрямо светится зазор над прозой —
над сценой выбитой — сплошной занозой.
Так дальние за дымкой острова
прячт над озером едва-едва...

ОСИНОВЫЕ СЛЕЗЫ

Владимиру Сошину

Синеет рассвет, и бумага чуть брезжит. Пятно
затем превращается в косоугольный квадрат —
с него начинается свет. Просыпаюсь и рад,
что именно так. На бумаге словечко одно

ночное, пустое спросонок, словечко-дичок.
Причина его непонятна и место в печи.
Сожги его впрок или так лишний раз промолчи.
Огонь все живей сквозь поленья ручьями течет.

Береза кипит; ель стреляет; осина — она,
осинушка, белыми-белыми плачет слезьми.
В огонь, позабывшись, глядим, как бывало детьми...
Меж красных углей искрсахарная белизна.

Кричащие краски полдневных далеких чудес —
те маки и розы, а если вблизи цветника
гранат зацветет — сила алого так велика,
что меркнет огонь... Чуть прихваченный холодом лес

зарделся с вершинок: осина цветет в сентябре
вчерашнею кровью и нежною плотью ствола,
где отсветы все и оттенки она собрала,
какие сегодня у неба о ранней заре.

Древесный — осиновый — северный — это не цвет,
но свет: он целебен. Он мненье молвы опроверг
о серости цвета. Пред ним и гранат бы померк.
Когда я его опишу — то-то буду поэт!

Бросает его в белизну: набережный плавник
вконец выцветает, но дочерна темен испод;
на главке церковной — серебряный с прочернью, тот,
которым святят небеса. Я его ученик.

ВЕТРОМ И ПЕПЛОМ

Олегу Чухонцеву

Поэзии определения нет
ни в книге ученой, ни в чистой природе —
чего же торчит на задворках поэт,
как пугало на огороде?
Пусты рукава и дыряво чело,
и сооружение как таковое
давно не пугает уже никого и
качает ведерком невесть отчего.

А в небо выходит окно слуховое,
«где нечего слушать и нет ничего».

Лишь ветра напористая излука,
бывает, такого нашепчет мельком,
что рвется по следу неясного звука
живая душа — и летит прямым...
Увалом лесным переломлена трасса,
как ствол кипариса и ход китовраса,
как бьет в подколенки прикладом конвой —
и стонет и воет проем слуховой.

Ты слышишь? Опять... Неизбежный Некрасов —
постылая проза, прикрытая чуть.

Срастается сломанный путь китоврасов
горбом, абы как... Духота — не дохнуть,
затем что не вьюга бушует, а свалка —
такой ли ты волею бредил, бедняк?

Уже не смешно и не страшно, а — жалко,
что время кончается мусорно так.

Как пьяный, шатается амфибрахий,
и свалка бушует, и ночь несветла.
И сводит молитва взыскующих братий,
и жалость все наши молитвы свела.

РУКА СОЧИНТЕЛЯ

Свои рукописные перебираю листки
и вдруг обращаю внимание
на выраженье руки
и вижу, как верно рука проработана — и
рисую крестьянские руки — мои? — не мои?
Чернила уже выцветают при жизни моей,
бумага поблекла, но эта беда — не беда:
гораздо заметнее стала, гораздо видней
рука сочинителя — произведенье труда.

Как рад, что успел я — несметно порвал рукавиц,
как рад я, что в дело мужицкое все-таки вник,
что сам,
от усталости на землю падая ниц,
я взял у земли — что не вычитал бы из книг!
И в первые руки и мимо чужого ума
начальное знанье она мне вложила сама,
и словно бы кровушка чья-то, свежа и ала,
от почвы отсыкла и в жилы вот эти вошла.
И влажную теплую землю сжимая в горсти,
я знаю — трескотинной кожи, ломотой кости,
блаженною радостью созерцанья труда:
кто землю вскормил — не обидит ее никогда.

И кто хоть однажды бревно положил на бревно
(со звоном певучим и влажным ложится оно,
и знаешь, опять, как легло — по тому, как звенит) —
уж тот не обидит, не тронет и не осквернит
чужого труда.

Кто же землю мою разорил?
Уж верно не тот, кто ломил от зари до зари.
И кто же так бил по рукам, что сломил их в кости?
Прости мне — чья кровь в этих жилах!
Прости мне.
Прости...

ПОРЕЧЬЕ

Ветер выдавит стекло
или выгнет парусом.
За ночь снегу намело,
кровли со стеклярусом:
ветер гнет сосульки в крючья,
гонит снеговые тучи.

— Это черные костры! —
это шестилетний Митя,
это пик его развития.

Мальчик гений до поры...
У хвостатой тучи страшной,
синегрухой, двухэтажной,
режут глаз до слез края —
солнечные лезвия!

По заснеженной тропинке
не проходишь без запинки:
— Митя! Под ноги смотри...

Митя говорит неслабо:
— Папа! Некогда мне, папа...

Вот и пожни-пустыри.
Пали и пожухли травы.
Кочковатые луга
долгошеи, белоглавы...
— Видишь, Митенька?
— Ага.

Что он видит, я не знаю.
Я что вижу — не скажу.
Ручку мягкую сжимаю,
озираюсь и дрожу:

мальчик тоже не слепой...
Поворачивают лица
те, которым не ложится,
тут стоящие толпой —
здешние... в земле по плечи...

Одичалое поречье.
Брошенные стожары.
Тучи — черные костры.

Свет идет от земли.
В сумерках беломошник
под ногой — будто в страшной дали.
Где опора, художник?

Здесь она или там,
в котловине и чаше?
**ЗЕМНЫЙ СВЕТ ИСХОЖАШЕ
И ПРИНИЧЕ ПЯТАМ.**

Там — глухой
обретался народец лихой:
уходил от Ивана, не дался Петру,
здесь по нем два кургана в бору.

Землю в руки вберу
белую моховую
и тебя назову я.
Разберу, как слепец письмена,
вплоть к тебе приникая,
что посмел забывать: вот какая
ты нечаянно погребена.

Угадаю родню,
по которой тоскую и сохну...
Первым делом в рогатую соху
впрягу четверню.

Кони или быки —
кругом ходит квадрага.
Пашня пышная, пашня-коврига,
в пашенке камешки
по сту пуд! Лягут в стены.

Две валунных морены —
что твои Соловки!
А в горе сам собой на вершок
ключ забился навстречу усердий,
это с посохом Сергей
проходил — отвернул камешок.

Тут часовенка — для бытия.
Прудик-сруб для питья,
для скотины, потом для белья —
зеркала в три ступени,
и простор — для веселья и пенья.
О-зе-ро! О-стро-ва!
Сей округи Великий акустик
голоска, шепотка не отпустит —
слышишь? — песня жива.
С песней тянут плоты,
возят сено широкие лодьи —
как же ты дожиди до бесплодия,
до моей немоты?
То ль гагара вопит,
то ль безумная мать причитает —
эхо пересчитает
острова и века, но смертельных обид
не сочтет — и растает.
на вершине трехпрудной
на камнях лишай изумрудный,
дивный свет подо мхом,
яма, холм...

д. Липовицы

У НЕСТЕРОВА

Воображением не богат,
на вернисаже
я погружался в Черный квадрат —
вылез — весь в саже.
Ну и довольно. Куда мне уйти?
Тихо у Нестерова, почти
пусто.
Отроку Варфоломею
было виденье... И я — во плоти —
вижу камео
русоволосую, лет двадцати.
В темном, тиха и бледна,
словно бы к постригу и она
нынче готова.
Скрыты, Россия, твои семена —
блещет полова.
Я разумею,
что уходящий от мира сего
з и ж д е т е г о...
и гляжу и немею.

Русая Русь моя, в черный квадрат
черти затакивали стократ —
полно, тебя ли?
Матовый свет на лице, словно рис.
Не осквернили торжественных риз,
а ведь ногами топтали...

ЗА ЗВУКОМ

Что значит счастье? Ничего я
от будущего не хочу.
Я обнимаю все живое
и жизнью за него плачу.

Последняя по Волге льдина
в прозрачных сумерках весны —
ты погляди: душа едина
у черноты и белизны.

И в этой нестеровской тиши,
в апрельском тонком забытьи
промолвили: *сим победиши* —
разумныя уста мои,

и я за звуком потянулся...

.....

НЕ ОПОЗДАЙ К КОНЦУ

*Всю неволю жизни яркой
Втайне отлюбил.*

Фет

От тараканов озверелых
в сиротском доме престарелых,
от старости и от тоски
одно спасенье — Соловки.

В деянии простом и важном
в оранжевом ремне монтажном
на колокольной высоте —
по вздрагивающей черте

скользи, скользи, канатоходец:
весь полон высоты колодец.

Неволю жизни отлюбя,
не опоздай к концу. Сегодня
ты в руки предаешь Господни
трудоспособного себя.

КОНСТАНТИН

Дошел оригинал до дантовых терцин,
славянский перевод — до нашей глухомани...
Философ Константин пришел от сарацин
с чугунным посошком в десной окрепшей длани.

Был мертв и воскрешен, пригубил яств и вин,
премудрость искусил лукавого Востока.
В безмолвии поста звук мыслит Константин
славянский начертать — его да видит око.

Совокупленье букв, волнение строки,
воскрелья гибких титл — все откровенья Слова.
Души не утолят Солуна родники —
плывет он посетить обитель Феолога.

На Патмосе сыскать орлиное перо
и келью угадать отверженного гения —
и душу ознобит пещерное нутро,
где рождена была поэма «Откровенья».

Да переходит в мир поверий и былин
поэмы сей кристалл, сей огненно-огромный —
как начертал его духовный властелин
крестившейся Руси, Марии сын приемный!

Жива поэзия, живая искони —
до Нестора, до всех отечественных хроник.
В отечестве своем себя не урони,
поэт! И на Руси поэт себя не ронит.

Он праведно живет до ста довольных лет
и сам ложится, жив, во гроб крестообразный,
и в Гефсимании не спит, не дремлет, нет,
и ни одной строки не произносит праздной.

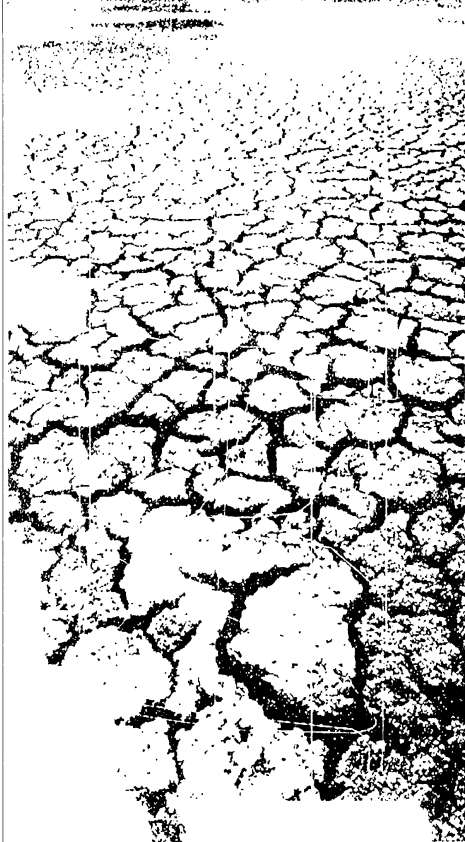
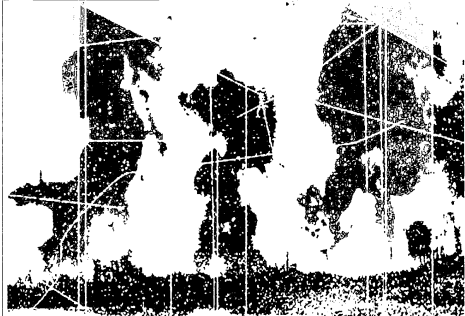
МОГУЧИЙ ПОЗДНИЙ ВОЗРАСТ

Через туристскую толпу
к Александрийскому столпу
скользнул извилисто, волнисто —
ну, наконец! — Мулат, Сверчок —
и черный в талию фрачок...
На мальчика, на фигуриста
ты так похож — и так легка
Твоя летучая стока...
Как пламя обрывая фалды,
как страсть безбожную иль гнев,
едва привиделся — пропал ты,
на пестром летнем прочернев.
И запоздало на плите
гранит свободный покачнулся,
чугунный ангел вострепнулся
и замирает в высоте...

Но отчего столь беглый облик
так налегке — как на коньке?
Уж верно, оттого, что отрок
еще очнется в старике.

Прерывисто струится через
благоразумные лета
святыня отрочества — та,
что отоляется в старость — в ересь.
И тут провал: глубится твердь —
небывшей старости зиянье,
изъятие из предписанья:
СЕМЬЯ. РЕЛИГИЯ. СТАРОСТЬ. СМЕРТЬ.
Побег замышленный? Деянье,
отложенное до поры?
Неправой жизни воздаянье?
Потемки каторжной норы?
Как вихорь, волен, страшен, нищ...

Кругом пророчества и пробы,
и тайна все, что быть могло бы,
что — е с т ь, как этот вихорь-свищ!
Читай — читай и слушай в оба.



V



© 1994

ИМЯ

Люди были ДЕРЕВЛЯНЕ,
речка ИДОЛ в тех местах.
Первый ландыш на поляне,
словно имя на устах.

И терпения и скорби
накопилось на веку...
А теперь топорик в торбе,
костерок на берегу.

В мачтовое краснолесье
я вернулся, как домой.
Ежеутреннее: ЛЕСЯ!
Первый ландыш, голос мой...

ОГОНЬ-ОГОНИК

Огонь-огонь-огоник
по левой стороне.

Ромаша-алкоголик
пожаловал ко мне.

Я наливаю Ромке
за малые труды,
а после третьей рюмки
не водки, а воды.

Его воображенье
меня не подведет:
почует ублаженье
сожженный пищевод.

Он просит после пятой:
— В-высоцкого, па-жа... —
и слушает, не пьяный,
бледнея и дрожа.

Хрипит злодей, наматывает
кишки на барабан,
горлянку перехватывает
Свободушка — рабам.

Кончается пластинка,
проходит тишина.
— А где зараза Зинка,
Володькина жена? —

он бьет зубами клецки,
горит его нутро.

(Несчастный Заболоцкий
так слушал «Болеро»).

— Я волк, ты знай заранее...
Еще нальешь? — Налью.
— Попомни: я когда-ни
деревню подпалю...

Огонь-огонь-огнище,
душевный дикий зуд...

Но прежде на кладбище
Романа увезут.

ПРОЩАНИЕ

Капризничает умирающий граф.
Велит подать золоченый караф
с можжевелевой ягодой на спирту
да вывести — да! не ослышался!! ту!!! —
вчерашнюю бешеную из денника,
чтоб скинула старого... дурака.

Отныне минуты его сочтены.
У черной кобылы глаза зелены
и ноги поют, и ноша легка.
Взвилась — и уносит она седока.

Навстречу обоим в восторге жестоком —
проселок, лесок — полосатым потоком.
Он думает: на зуб кислоты удила...
Ты где меня вымотаешь из седла?

Но разумом наделена кобылица.
Постылая жизнь для чего-то продлится.

В ложбине глухой, где мосток и ручей,
сошел он и видит: слеза из очей,
к нему обращенных, жемчужно-зеленых...
О нем ли? О днях ли, ненужно продленных?
О том ли, что нету по ней седока?
Слезая несказанна, печаль велика.

В ЦВЕТАХ И НА ВОЛЕ

Ан. Попову

Безлюдье. Курится вдали Воркута.
В цветущем распадке разбросанной горсткой —
ледок? солонец ли?.. Не пусты места,
где бродим с биноклем и старой трехверсткой.

Чем тундра прекрасней, тем злее мошка.
На праздник цветенья нездешняя сила
ее насылает, чтоб исподтишка
нам веки распухшие раскровянила.

Паруются твари. Пространство дрожит.
Чего пожелаешь сверх полного блага
тому, кто в распадке зеленом лежит
под небом, в цветах — и на воле, однако?

Не надо их трогать... Товарищ Попов,
что вам рассказали амбарные книги
про семь белоснежных больших черепов
и маленький, детский? Студенты из Риги

прошли по своим заповедным местам
и кости свои отличили от наших...
...Дано мне отпущение — аз не воздам
ничем кроме слез, кроме слез набежавших.

И тех я не выдам — запнусь, отвернусь,
сдеру накомарник, срисую распадок,
мошки не почую. А может, и гнус
имеет понятие? Как семь куропаток —

февральских — в траве, возле дымчатых гор.
Урал где выпрастывает хребтину
из топи — как гиппопотам... Кран о флёр?*

Откуда бы это? С какого помину?

* «Crâne aux fleurs» — «Череп в цветах» — первая книга
Г. Табидзе.

... Виньетки, череп, в глазницах цветы —
обложка студенческих — а ля Бодлерё —
стихов — до возмездья стихам... До черты,
за коей исполнится страшною мерой

младое рифмованное баловство —
душевная блажь парижан кутаисских
про этих... и с ними еще одного
в отрогах Урала, неясных и низких.

З а п и с и**БАР НЕПТУН.
ПЯТЬ УТРА**

— Гляди: не пнут —
ошшо как напинают
— Ошшо и выпнут
— Ну так бар,
а мы какие बारे?[?]
— Баре знают,
кому писать
— У этих бар амбар...
— А, Минь, а ежели сказать немтун?[?]
хоть лаемся, а все равно немтуем
— С полночи ох и колотун,
пивка бы
— И за коим куем
написано? Кабак и есь кабак
— А стоюна видал? Валютный дак.

ДЕСЯТЬ УТРА

— Ты чо? — А чо?
— Ну ты даешь, Колюха,
жениться ладит, голова-два-уха!
— Дак чо?
— Дак то... жениться... дак она...
— Ну чо, ну чо она?
— Она ить шлюха!
— Дак што што шлюха —
значит всем нужна.

Макарьев

НИКТО И НИГДЕ

А Юра Шавырин пропал без следа.

Куда? Вы не знаете ли, господа?

Да нет... Вы и Юру не помните — где ж!

А Юра не мог улизнуть за рубеж,

Как Петя Невегин, и кануть не мог

в таинственный бизнес иголкой в стог.

Объявлен нерозыск, и всё, и молчок.

Сотрудник улегся жене под бочок.

Велик материк, и поэта найти...

и девочку... Девочка лет десяти.

И дрыхнет, кто может. Ответственный мент
страшные рожи наклеил на стенд

и девочку... Девочка лет десяти...

Ушла и пропала. Господь, НЕ ПРОСТИ...

Мужик-недоросток, до глаз в бороде,

бормочет под стендом: НИКТО И НИГДЕ —

мой статус отныне и место мое.

Ох, звери... Ну как же, найдете ее...

А что же коллеги? Пропал — и пропал,
хоть вас и покрепче стишонки кропал.

Забросьте наживку: «Прекрасный поэт...

Издание... Спонсоры... Вечер... Фуршет...»

Иосифу Бродскому честь отрубя,

Россия, оглянись ли на себя?

Но Юра, уехав, но Юра, ушед,

Не слыхивал сроду, что значит «фуршет».

Подумает: разве какой-нибудь срам?

В нем так сочеталось презренья к пирам

с охотою к водочке...

Где ты, старик?

Обширен и глух мой родной материк.

ДМИТРИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПРИГОВУ, УМЕЮЩЕМУ ВОПИТЬ КИКИМОРОЙ

Дмитрий Александрович, по дружбе не уделите ли мне несколько воображенья, восполнить дабы соображение... скажем, рояля по брюхо в морской волне, что почуяла отмель и сразу встает на дыбы?

Дмитрий Александрович, дорогой мой сосед, обяжите! Или — раскиньте пустырь для бомжей и собак со столом посредине: тосты, фушет, а потом присед, а потом они бродят жуя кто-кого-как.

Ну вот и спасибо! Дальше сам я наверняка нарисую фигуру со взглядом издалека на коньяки-балыки (бокал — завершение руки: руки, когда без бокалов, сжимаются в кулаки).

Пьют, но и жрут могуче: хоть бы кого развезло!
Стол — буквой П — «покоем». ОГНЕМ ОКРУЖЕН ПУСТЫРЬ.
Смотрящего издалека первого припекло:
согнуло и нудит... Пуст желудок. Пуст желчный пузырь.

Лев Толстой на войне придумал НРАВСТВЕННУЮ ТОШНОТУ и КРЯХТЕНЬЕ СТЫДА. Бесперервно старик кряхтит!
... .. Слышите? Разговаривать с командирами неумоготу: один негодяй, другой, кажется, полный кретин.

Но вопите Вы замечательно! Научите — к чертям слова!
А я Вас — кряхтеть... попробую... Может быть... Но сперва вой чеченского волка ямбом переведу.
Волка пуля найдет — я берлогу найду.

ГЕРБОВЫЙ СЛЕД

С. И. Липкину

Переведу ямбом чеченского волка вой,
в стену стучась бетонную повинною головой.

Грустно, Семен Израилевич, плохи наши дела.
Заполночь еле-еле вылезешь из-за стола

письменного (кроме круглых, покойных, прочих иных
еще сохранился письменный в эпоху пиров чумных).

Волк и кот — перевод
~~Переведу хоть этого, хоть того Шамиля...~~

Волчий след сквозь горбатые олонецкие поля —

след прямой и глубокий — рубанули сплеча —
след, подобный удару архангелова меча —

ГЕРБОВЫЙ СЛЕД — так в юности прямо через квартал
через заборы и стены лез и перелетал —

ночью прямо по курсу выбрав себе звезду...
ВОЙ ЧЕЧЕНСКОГО ВОЛКА ЯМБОМ ПЕРЕВЕДУ.

КАКОЙ БУКЕТ У НАС СЕГОДНЯ!

Николаю Тряпкину

Своей малиновой шинели
топыря вислые плеча
сквозь дух помойки дух шанэли
уверенно проволока,

полнеющий стандартный малый
звонит в загадочную дверь,
где ЖЭК был прежде, а теперь
какой-то Шэйпинг небывалый.

Мне наплевать на их дела
и никакого интереса,
почто сюда свои тела
привозят девки в мерседесах.

Я эти таинства постиг...
Но тут с авоськой неизбежной
вслед шэйпмэну спешит старик
своею косою побежкой.

Шарк-шарк, что лапоток, шажок —
да не подумайте худого! —
он весь: душа да посошок.
Но Шэйпинг? Чорт-те что за слово!

По мне, спросить, так этот шэйп
с пришипом — по спине нагайкой...
Отшелестел шанэльный шлейф
между помойкой и утайкой.

ТЬфу! Кэль одөр! Я говорю,
какой букет у нас сегодня!
найдется маршал Пишегрю
на оказаченные сотни.

Опять Россию Бог не спас...
Ты видишь, Николай Иваныч?
Они еще достанут нас
нагайкой, напоследок, на ночь...

МГЛА

Сергею Пишизову

Паркует он, впритирку подруля,
свой драный «Запорожец» инвалидный
к чернофигурной марке инвалютной,
чьи золотые льются вензеля.

Брезент накинёт, сшитый из кусков,
тесемочки подвяжет, еле-еле
сгибаясь в изуродованном теле,
и кожа потемнеет у висков.

И через двор с пакетом молока
хромает он, обласканный собесом,
асфальт пятная батогом-протезом,
сей помесью бутылки и древка.

И много раз на дню и без нужды
поправит он лоскутную попону,
поклонится... И по его поклону
видать: уж недалеко до беды.

На черной глади белая рука
лежит, забывшись, пухлая с потыли.
Хорошего, должно быть, мужика
на инвалидку мы пересадили.

Колдует чернолаковая мгла.
Почтенье мерседесам и тойотам...
Играют с ним кривые зеркала,
в которых ничего не узнает он.

НАДПИСЬ*А. В. Соловьевой*

Напротив площади Сенной
на костромском проспекте Мира
меня немало изумило
значение надписи одной.

А СТОИТ СМЕРТЬ ТОГО ЧТОБ ЖИТЬ!

Так начертавший на бетоне
меня не думал одолжить,
однако же... Мой ангел, Тоня,

Вам стоит в городе таком
быть мученицею культуры:
с ее вершинами знаком
был автор этой сигнатуры.

Превыше смерти — только СТРАСТЬ,
что кружит черной лебедицей...
А стоило на свет родиться,
чтоб с этой высоты упасть!

Кострома

З а п и с и**ДИВЬЯ БЫ***

Карта мира на голом полу
да Никола в углу —
весь уют.

- Ой, придут и убьют!
- А дивья...
- Мы семья, правда, милый?
- Семья.
- Где мы вместе — там дом,
и Николушка здесь...
- При семействе святом...

По экватору карта тепла,
наизнанку шершава.

- До Тебя меня не было, я НЕ БЫЛА,
не была, хоть рожала.
- Как я дожил...
- Как я дожила!
- НЕ ЖИЛА... НЕ ДЫШАЛА...

*Хорошо бы (олон.).

ЭТИ КОЛЬЦА

Смиренье. Смиренье. Смиренье.
Все прошлое перебелю.
Смирненное стихотворенье
придумаю, что НЕ ЛЮБЛЮ.

Отрину больное и злое...
Мне ангелы весть подадут,
о том, что Тебя к аналою
насильно сейчас поведут...

Смиренье!.. Но вестник ошибся,
ошибся весьма и весьма:
с лицом желтосерого гипса,
в смирительной робе, Сама —

«Как странно невесту одели!» —
Сама жениха Ты ведешь...
Тогда в полутемном приделе
посльшится внятное: ЛОЖЬ!

Так вот как закончилась драма...
И я полумертвый уйду
из этого скверного храма
и женщину не уведу.

Смиренье... Но вздыбится паперть!
Как палуба встанет стеной —
и бурная Бездна-Праматерь...
Но крики... Но В О П Л Б за спиной!..

Твое — в ослепительном круге —
лицо! — и меня захлестнут
любимые, жаркие руки...
Жила — ради этих минут...

Твой смех сквозь рыдания рвется...
Мелькают комочки-платки...
Никто не порвет ЭТИ КОЛЬЦА —
объятья в четыре руки.

ЕДИНЫМ ДЫХАНЬЕМ

С бегучей искрою малиновые гольши,
железные проймы дверные от инея белы:
снаружи мороз... Столько сразу всего для души,
от собственной смелости и простоты оробелой!

Неистовый жар из сучков выжимает смолу.
Дыши через веник. Он пахнет АНГАРСКОЙ ПИХТОЮ...
Вверху — невозможно... На корточках на полу
зажалась в комочек, прикрытая лишь смуглотою.

Слегка на прозрачные камни плесну из ковша —
вода в этом пекле от ужаса воспламенится! —
жар вылетит из камеленки клубясь и шурша...
— Тебе это снилось когда-нибудь?
— Мне это снится.

Нам снится ЭЛЛАДА МОРОЗНАЯ — мы разошлись
с толпою так круто: сегодня мы — пара мишеней.
— А что, я вернул Тебе девство?
— И детство! И жизнь! —
Смеется, довольная — Тише, не делай движений.

Сюда... молодец... узковат этот жгучий полóк
и воздух тут... неприкасаемый, просто железный...
Дыши АНГАРОЙ: я с Тобой и ТОГДА, видит Бог...
но легкости не было этой — совсем бестелесной...

Ты видела Индию предков, любимого Ты
искала и в термах, и в страшных гемониях Рима...
Я здесь... Я слепой — я не вижу Твоей наготы.
— И я... — Потому что любима, любима, любима!

Ты помнишь: сиянье встает ЗА ГОРАМИ ГРУДЕЙ —
и он это видел: сиянье. Как страшно, как жалко —
совсем ведь мальчишка! Сорвался — СЛЕЗА ПЛОЩАДЕЙ,
заплеванных вечно...
В тепле одевайся... весталка.

Роса выступает... Оденься в тепле, не спеша.

— И все? — и хохочет.

— И все. Я Тебя нарисую

дыханьем единым — без красок, без карандаша —
на крепком морозе. Иные художества все.

ТЫ ЗДЕСЬ — эту страшную зиму собой освятя ...

ОГОСПОДИ! Я, НАКОНЕЦ, ДО ТЕБЯ ДОКРИЧАЛСЯ!

...А лучше — простынку накинуть, прижать, как дитя,
и так бы нести и нести бы — до смертного часа...

ИМЕНЕМ ЛЮБВИ

— Вот Библия — и вот Коран.
Вот океан — и вот ручей...
Так возмущал магометан
Солунский юный книгочей.

— Любовь — от Бога. Никакой
расчет и промысел людской
с Любовью не соизмерим...

Так сарацинам говорил
на любознательном пиру
предерзкий этот пилигрим,
приговоренный к топору.

— Меня казнить — напрасный труд!
И повторял на все лады:
— Мои глаголы не умрут!
Я весь — Любовь. Аз есмь любы...

— Коран? Ручей перешагнуть! —
ты океан переплыви!..
И ритор продолжал свой путь,
спасенный именем ЛЮБВИ.

Сквозь дождь и дерево нагое
свет фонаря едва прошел —
как ломкой золотой дугою
широкий вспыхнул ореол.

И поэтическое зренье
подобную имеет власть:
вся жизнь вокруг стихотворенья
сомкнулась и переплелась.

Я вижу свет перед собою
и жизнь кругом — и вся она,
и каждая черта — любовью
осмыслена, озарена.

**АВТОРУ КНИГИ «ЛЮДИ МОЕЙ
ЖИЗНИ» ТАМАРЕ ПАВЛОВНЕ
МИЛЮТИНОЙ
С НИЗКИМ ПОКЛОНОМ**

Кто я? Человек бытия.
Под спудом на дне захолустья
чиста ледяная струя,
тиха, как Великое Устье.

То жизни Священный Байкал
высоко стоит надо мною.
Я Правды Последней алкал —
я распят ее глубиною.

Затем, чтобы ныне и впредь
сквозить по-над-водным туманом,
зеркальным обвалом лететь
над сорокаверстым Шаманом.

Отматывать каторжный срок
у каждой запруды злодейской
и помнить Священный Исток
в исходе Губы Енисейской.

ПРИЛИВ

Летит, вздымаясь, вал нагонный
по отмели пологосклонной.

В ночь полнолуния прилив
доходит до гранитных грив,

до яркой полосы заклатья,
до кромки траурного платья —
и вспять с полуночных высот
слезами ропота сползет...

Недаром я живу богато:
Хозяйкой Острова когда-то
валунная одна гряда
подарена мне навсегда.

Во взрывах брызг, в безумной пене
уходят в глубину ступени,
скрывается лицо луны —
и сердцу страшно глубины...

Соловки

РАМА

Резное небо близко-близко.
Его цепляют за края
пихты атласной обелиски
и терриконов остря.
Вздывает меховые сопки
крутая шорская тайга,
где с февраля ручьи на солнце,
а в падах по июль — снега.
Шумит порог — шум обмолота —
у мраморного дна — форель,
там арабески, позолота...
На солнышке теплынь — апрель...

Ты дремлешь. Веки лиловаты.
Костер прозрачный у ручья.
Мне чудится, что здесь когда-то
мы были прежде: Ты и я.
Окружена всей этой рамой,
т а к Ты лежала, т а к шумел
крутой порожек, донный мрамор
так зыбился и золотел.
Дышали холодом распадки,
и я глядел... И как всегда
я: СПИ, ЦАРИЦА СПАРТЫ,
еще апрель, еще весна...

НАТУРА

Павел Иванович Люсю пускает в галоп —
Люська летит, за санями вздымая пургу.
— Поберегись! — так и сдунуло, прыгнул в сугроб —
и пронеслись. И лежу, улыбаясь, в снегу.

Где на приречный подол набегают плато,
легкий накат и дороги подкова узка.
Слушай, да чаще оглядывайся, а не то...
Пыль, отклубившись, ложится по следу возка.

Только алмазинки мелко щекочат в носу.
...Возобновляю виденье и в пальцах несущу
тающий шлейф — самый край — понимаете, ЧЕЙ —
чтоб сохранить для потомков порядок вещей.

...Будет разлив и медовый пасхальный апрель.
Прошлого сделаю будущим — добрая цель.
Чьим-нибудь ЗАВТРА — блаженное наше ВЧЕРА.
Так — не дыша — или так — напролет — на ура.

Люсинька-Люся! В посаде такая одна,
что от мороза под сорок бывает пьяна —
так и взыграет и в гору галопом летит,
а на рысцу перейти ей натура претит.

Парфеньево

ИЗ МОЕЙ КОЖИ

Дочь моя Катя, любимица Зайцева Славы,
законодателя мод и властителя дум,
я попрошу, сочинит Тебе летний костюм,
легкий, как слово люблю — я люблю это слово.

Мода пойдет, очевидно, на узкую грудь —
руки свободно стекают на полные бедра,
плечи откинута чуть, груди вольны как ртуть,
плечи открыты и шея крылата, и гордо,

как у танцовщиц, высоко посажена голова,
сзади пучок чем-нибудь перехвачен небрежно.
Дело не в этом — мои ключевые слова.
Чем ненарочнее, тем идеальней одежда.

Подиум узок: по струночке надо пройти,
сжатых почти что не передвигая коленок —
плавно скользишь и выходишь из платья — почти
вся целиком — так выходит дитя из пеленок.

Катка! Ты в русскую кожу одела мадонн.
Вот и на мне накопилась излишняя кожа...
Если не врут, ты с Мадонны взяла миллион —
мало взяла! Леськин будет костюм подороже.

АДАМОВО РЕБРО*Булату*

Болят адамово ребро,
с тоскою нету сладу.
«Прочти «Женитьбу Фигаро»
да позвони Булату».

Но так сурово на душе,
что не поможет Бомарше,
хоть с Моцартом впридачу —
как Тариел я плачу.

Я не звоню — звонит Булат,
хоть был с утра не в духе;
КАКОЙ СТАРИННЫЙ СНЕГОПАД!
ПРОЙДЕМСЯ ДО ХАРПУХИ.*

Там улочки как ручейки,
извилины и тупички
как в этой черепашке
и дом **ОДНОЙ ХАРПУШКИ.**

Из сплетен ей сплели венок,
но в нем стихи и песни.
Она одна... Она без ног,
ее катают в кресле.

...На нас сквозь отсветы окна
красавица глядела —
и жизнь моя — еще одна —
как молнья пролетела!

Забывтый отроческий сон:
БЕЗНОГАЯ НЕВЕСТА...
и на бульжный крутосклон
я вкатываю кресло.

* Район старого Тбилиси.

О счастье ЖЕРТВЫ-БЕЗ-КОНЦА!

И свято мне и больно:

такого одного лица

на всю судьбу двольно.

В небесных отсветах окно,

и в сетке снегопада —

лицо, всезнаньем сожжено,

лицо Булата.

РАКИТА

В откос правобережный,
в упрямый косогор
заречный ветер свежий
с разгона бьет в упор.

В упор ему кренится
и дерево — идет.
Отчаянно искрится
серебряный испод.

Кренясь идет к обрыву
по красному хрящу.
За эту душу живу
как лист я трепещу.

Вся жертвенно раскрыта...
И в небо — в честь Твою —
Твоя взлетит ракета
оттуда, где стою.

Ей просто невозможно
по осыпи сползти.
Мне страшно, мне тревожно.
Но я с Тобой. Лети...

с. Бахмут

ГОД БЫКА

Не пожелай... Не укради...
Но треугольник тот,
что бьется у меня в груди,
мне ребра прободет.

Проходит Год Быка — и в лоб
такого рогача
никак не достучаться, чтоб
дошло: Она — ничья.

И чем насильнее взята,
тем более ничья
Та, Божьей милостию, Та,
в которой жизнь моя.

С Ней на устах и смерть легка.
Одну Ее хранить
молю я Небо... А быка
чего ж не подразнить?

.....

ЗА ЛИЛИЯМИ

Любовь — такая странность:
как быть, что делать? — СМЕТЬ.
Мы отменили старость,
но разбудили смерть.

Так прост волшебный ларчик.
И вот поплыл чем свет
за лилиями мальчик
четырнадцать лет.

Когда Она проснется...
Когда Она... Она...
Так хорошо плывется,
когда не надо сна!

Горнист пионерлага
в сторожке спит пока,
и дымчатая влага
тепла и глубока.

Цветы слепы и сонны,
в бутонах белизна...
Раскроются бутоны,
когда Она... Она...

Но ТЕНЬ встает в картине,
и вязнет дуралей
как муха в паутине
резиновых стеблей.

Быть может, за отвагу
ОТДАТЬ ЛЮБИМОЙ ЖИЗНЬ
Господь ему корягу
подвинул: обопришь!

Ты начал жизнь неслабо.
И в смерти выбор есть:
прими ее как благо
и редкостную честь.

СВЯТОЕ УТРО —

пробует кукушка
 рассеянно — еще со сна —
 все те же клавиши-полутона.
 Трель дробную просыпала желна
 с антенной мачты. Юркая пеструшка —
 скворчиха в шубке обливной
 и радужной — такая смушка —
 скороговоркою с желной
 соперничает. Наглая сорока —
 вся исчерна бела —
 на врытый в землю стол наводит око.
 Звонят к заутрене колокола.

Снег не сошел еще, и по-сорочьи
 земля чернобела с высот.
 Вон лебединый караван плывет,
 снижаясь после перелетной ночи.
 Их восемь. Описав огромный круг,
 перечеркнув еловый темный полог —
 меня спит их резкий промельк —
 на залитый широкий луг
 они садятся, шумно-велегласны...
ОНИ ДОВЕРЧИВЫ: ОНИ ПРЕКРАСНЫ.
 Отволгла крыша. Слабая капель
 вплетается и в дятловую трель
 и в щелкающую скороговорку
 пеструшки обливной — и солнце в скворку
 взойдя над перелеском, луч
 наводит красноватый...

Начнем же утро,
БОЖЕ СВЯТЫЙ —
 начнем его сейчас и навсегда —
 на завтра, на года, года...

Дробь дятла уморительно смешна:

невероятной частоты стаккато —
бьет головой — а голова одна —
семнадцать раз на выдох!
Этой Т-Р-Р-Р-Р-АТЫ
нет, я не выдержу. А Ты?

Траву торопят первые цветы,
луга и речку поровняло —
проносит хлам лесной, проносит сало —
с шипеньем разрушающийся лед,
проносит бревна... Посреди поля
трепещет верба, тонет и цветет!

Букет с запутавшеюся пчелою
внесу в избу и спящей Лесе
пыльцой измажу нос:
— ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ИСКОНИ БЕ ОГНЬ

Так что вначале было? Слово?

В черновиках у Богослова —
жаль, что теряются они —
я отыскал бы: ИСКОНИ
БЕ ОГНЬ... В славянском переводе
богоподобен самый звук!
В истоке был — и быть в исходе
огню,

не правда ли, мой друг?
Еще бы: Ты же вся ИЗ ПЛАМЯ
И СВЕТА в темной нашей драме.

Из пламя слово рождено
и в пламя слово обратится.
Тьма грозовая разродится
огнем. Иного не дано.

ПОКА ДЫШУ. ОТРЫВОК

Я только мать. Меня нельзя обидеть.
Мой долг простой нельзя перерешить.
Решали... Ничего у них не выйдет.
я только мать, обязанная жить.

Я не вольна в себе. Гляжу повинно
на их старанья. Что ни говори,
добра хотели... Только пуповина —
связь всех времен — здесь, у меня внутри.

О, это велико и непостижно...
С великой Жалостью на них гляжу...
Нет, у Иуды ничего не вышло —
и никогда... А я пока дышу

и дни и месяцы плывут навстречу —
дышу — шевелится! — седьмой, восьмой...
Я ничего другого не замечу
и не решу... О Боже! Боже мой!

Рассказывали мне... Я не забуду...
Как бредил Иисус... Там у одра
дежурил Петр — и Бог просил Петра
очнувшись: — Петр! Петр! Спаси Иуду...

Я — мать. Я оболочка. Я обложка
Великой книги: вам ее читать.
Я на восьмом... Еще совсем немножко —
и всё. И нет меня. Я только МАТЬ.

З а п и с и**ДАЙ ИМ, КЛАВКА**

ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ... Что за подлый словарь!
ВАШИ, ВАМ ГОВОРЯТ! А МЕНЯ НЕ КОЛЫШЕТ!

На перроне вдыхаю родимую гарь,
из кислятины заложидания вышед.

НЕ КОЛЫШЕТ — экзистенциальная суть,
что втесалась в язык так библейски картинно.

Вот и парочка, переходящая путь:
их колышет вчерашняя пьянка, вестимо.

Оба среднего рода, хоть ОН и ОНА,
и пожалуй, разлаются без опохмелки.

— ЕСТЬ У КЛАВКИ! — А Я ГОВОРЮ, НИ ХРЕНА!

— КЛАВКА ДАССЬ... Но мои наблюдения мелки.
Дай им, Клавка...

Рассеялся на пять минут.

Опрокинута жизнь моя, вырваны корни.

Может быть, монастырь — мой последний хомут?

Хоть бы как — только прочь из моей живодерни!

Если воздух проглоченный... если слова...

если душу закрючат и вырвут наружу...

требуха наизнанку... собака мертва,

я видал... Как же так?

Я Ж ВОБРАЛ ТЕБЯ В ДУШУ...

Май 1997

З а п и с и**ПУШКИН**

— Что делаю? Я вас лечу.
— Я Пушкин: я жить не хочу.
— Я смею...
— Не смеее сметь—
я требую права на смерть!
— Я понял, но ваш интерес...
— А я повторяю, что бэз...
И дикий безвыходный рев
разгонит сестер-докторов:
до ИМЕНИ только дойдет —
и корчится весь, и ревет!
Затем переходит на всхлип,
затем отключается.
— Влип
как муха. Полдозы ему...
Царевна живет в терему.
По Ней тосковал он и чах,
чье ИМЯ в безумных речах
рыданьем на волю рвалось
и пеною губ запеклось,
чей лик — на лице мертвеца,
державшегося до конца.

ПОРУКА

Муре, Саше Ревичам

Мне рассказывали старики, мученики лагерей,
что спасались они всему вопреки — МОЛИТВОЮ МАТЕРЕЙ.
Я это знал, потому что мог неправую смерть заклать,
стиснув волю в слепящий комок, Твою призывая власть.
И пока я ЭТО в себе носил как молнииное ядро,
мы спасли с Тобою, Господи Сил,
младенца Марию,
младенца Сандро.
Но когда... Когда ту, одну, девочку я не спас,
я познал НИЧТОЖЕСТВО И ВИНУ — во мне они и сейчас.
Эта пара — тоже Твой дар, Творец...
Упираюсь морщинистым лбом
в морщинистый выветренный торец на берегу пустом:
часовенка утлая, в глубине иконка — слепой левкас.
А кто-то молил Тебя обо мне —
и весною меня Ты спас.
Теперь спаси, я Тебя молю, детей моих, жену мою,
и Ту, что молитвой меня спасла и всю жизнь меня
прождала...
Еще спаси, я Тебя молю, Ту, что больше жизни люблю,
а меня накажи, коль сочтешь за грех,
что любви хватило на всех.

Июль 1997

РОЯЛЬ В ИЗБЕ

Когда на озере волнение,
по смоляным широким плахам
колеблемого потолка
перебегают арабески,
но соскользнуть по стенке вниз
им никогда не удастся.
Пол, свежесмытый с дресвой,
исходит желтизной влажной,
все дышит: пол, и печь, и стены,
и озеро в окне, и я
дышу глубоко и спокойно,
забывшись...

Скорая побудка!
Удушье... Слезы... Все мои
нелепые картины... Вот
РОЯЛЬ В ИЗБЕ подслеповатой:
Ты — в белом вся и в блестках света —
играешь — озеро на солнце
играет так, слепит... А вот
в болотных сапогах, в бушлате,
стою, **МУЖИК, В СОБОРЕ ШАРТРА** —
Ты наверху, в какой-то нише,
Тебя не видно — только хвостик
резинкой схваченных волос.
Мне шепчут: — Мсье, кто органистка? —
так месса потрясает своды,
и я шепчу — Рюсс... мюзисьенн...
и слезы: подступает море
мне под ключицы... Страшно мне
быть каплею такой стихии.

Кругами выложена паперть,
чтоб на коленях по спирали
ты полз до покаянья. Так
на Соловецком берегу

по каменному лабиринту
 кружил я с любопытством детским:
 кто выложил улитку эту?
 Где выход? Черные круги...
 Мои колени гнутся...

Я
 Тебе оставил эту строчку:
НЕИСТОВЫЙ БАХ СМЕРТОБОРЕЦ.
 Понятно, прихожане Шартра
 такого Баха не припомнят,
 ведь шартрские органисты
 не слыхивали,
 как Байкал
 ревмя ревет пред ледоставом,
 а схваченный ледовой крепью
 поеживается от стужи:
 тот гул, та перепалка, стоны
 протяжных трещин... Не видали
 тепличных провинциалы
 гор, что вздымаются кресчендо
 правобережьем Баргузина,
 ни Волжского хряща... В Тебе
 всегда все это, все родное...
 Ты ЭТО ВСЕ играешь мне,
 ко-ле-но-пре-кло-нен-но-му.

Чудаковатый этранже
 в немислимых ботфортах — кто я?
 А Твой рояль в моей избе —
 что это?

— Это правда, милый.
 И Твой порог переступив —
 а я его переступила —
 я вижу: мой РОЯЛЬ В УСАДЬБЕ
 Твоей — и я Тебе играю!

АРЕНА

— Ты стал мне другом, — говорит Фазиль,
и просыпаюсь я с испугом:
тот голос, что слова произносил,
звучал так явственно... За звуком
спросонок я слежу
и никого в углу не нахожу.

Вот старости притихшая страна,
где победила тирания.
Вот книжек телефонных имена — иные
забыты насовсем. Пустеет звук.
— Кто это? — спросишь,
когда родное имя произносишь...

Какое множество разлук,
когда не в силах вынести — ОДНОЙ!..
И бредит слух больной,
и голос мнится...

Но дружбы золотой запас
еще хранится,
когда к единоборству нас
смерть позовет сама!
Пусты трибуны и арена,
как ящик жестяной, где нет письма:
что? как? жива ли? нет? сойти с ума!
ЕЛЕНА...

Май 1997

ЧТОБЫ ЖИТЬ

Вот — опять в этом пухлом конверте
тайну сердца на почту несу.
Адресату дарю бессмертье,
но от насморка не спасу.

Чтобы жить,

надо знать:

ЧТО ТАМ С НЕЮ.

С каждой болью отцовская суть
все сильнее во мне, все яснее.
Вот уж правда: **ЛЮБИМАЯ — ЖУТЬ!**

Не боюсь ни дуэли, ни плахи,
грех сказать: даже наоборот,
и живу-не живу в Божьем Страхе:
пропадешь —

пропаду —

пропадет...

Тут механика буреповала:
друг на дружку и все заодно.
ЧТО С ТОБОЙ??? Мне дыхания мало...
Что со мною? Не все ли равно.

1997

З а п и с и**КОСТЕР. СОН. ШЕПОТОМ**

Как будто мы с Тобой в соборе —
знакомый: Шартр? или Дом?
Народ на площади. Идем
в пульсирующем коридоре,
в толпе...

Вдруг! нефтяным огнем —
КОСТЕР! Костер мне снится часто...
Но вместе мы — какое счастье —
рука в руке...
Нет! Я — одна!
А Ты в толпе — ТВОЯ СПИНА...

И стала бы я вдруг — старуха.
И нет мне радости — гореть...
Что это? Милый мой, ответь.

И он сказал: ХУЛА НА ДУХА.
Любовь — и вдруг такие сны?
Ты предаешь меня. Неправда,
что мы в сомненьях не вольны.

И стал лицом чернее мавра
и отвернулся от жены.

ОТЕЛЛО

Что *сердцу девы нет закона*,
известно и старо как мир.
Предательницу Дездемону
представил ангелом Шекспир.

Он поступить не мог мудрее,
а бедный мавр, уже старик,
всердцах повесился на рее,
сдержав последней боли крик.

Душить? Любимую? Ославить?
Навеки? Боже сохрани!
На белом горлышке оставить
такие черные клешни?

Отелло — воин и поэт
из редких, тех, что *не от мира*.
Что за беда, что правды нет
и нет законов для Шекспира?

ПИСЬМО С ПОМЕТКАМИ

Уходишь? Уходишь... Как стоик,
сейчас я прощаюсь с тобой.
Лежу на диване. На столик
поставлена ванна с водой.

Рука пузырьками оделась.
Еще горячо, но терплю.
Ты помнишь, как весело пелось:
«Прощай — погибаю — люблю!»

Такая была шансонетка.
Но если и вправду уйдешь,
то кровь отворю.
Здесь пометка,
подчеркнуто: **ВРЕШЬ НЕ УМРЕШЬ.**

Я знаю, тебя не осудят.
Записку сейчас отнесут,
и если ответа не будет,
то всё — и меня не спасут.

Но как же...
— тут несколько строчек
расплылись лиловым пятном —
... я видел, что этот молодчик...
И сбоку ответ: **ПОДЕЛОМ!**

... которая долг забывает...
жена... **НЕ ТЕБЕ Я ЖЕНА!**
С насмешкой: **ВОДА ОСТЫВАЕТ!**
И с вызовом, ярко: **ГРЕШНА!!!**

То он угрожает, то просит,
то плачет... Меняется тон.
Конечно, она его бросит,
уйдет — не сейчас, так потом...

Не бросила. Почерк соседки.
Как маялись — так и живут.
Напротив, на лестничной клетке.
К себе никогда не зовут.

Бедетны, теперь уж до гроба.
За дверью всегда тишина.
И вдруг: НЕ ТЕБЕ Я ЖЕНА! —
старинная жаркая злоба —

и настежь распахнута дверь:
спускается вниз, спотыкаясь,
старуха, и воеет как зверь —
УХОДИТ, в содеянном каясь!

Работа разрывов, разлуки труды
вздирают коростовый слой до руды.

Где бор золотой? Где сиротский колок?
Прошла борозда борозды поперек.

Надрался и скалится крюк-шпалодёр,
чей дьявольски изобретатель мудёр.

И гибнет и дышит последней листвою
повал поперечный, повал долевой...

За рваным туманом — косые кресты
с отлетной, ненастной моей высоты.

ОТ ПОЛЫНИ ДО ПОЛЫНИ

А где мой дом? Где подо льдом
темно и бездыханно.

Пльиву — и верится с трудом,
что мука богоданна.

Ночам подобны дни мои.

Пльиву от срока к сроку —
от полыни до полыни —
ТА ВСУПЭРЭЧ ПОТОКУ.

Не затынуло бы ледком

живую глазовину:

там — на краю — Она, по ком
я стыну — стыну — стыну...

Там солнышко — а Ей темно,
как подо льдом запрета...

Чуть брезжит полынья — окно
НА ВДОХ, на волю света!..

1996—2000

ВЗГЛЯД

Бросок налево — и башка направо.
Бросок направо — и башка налево.
Волк мечется, но голову несет
недвижно. И на вас взирает здраво —
толпящихся бесстыдно и нелепо.
В глазах прозрачных красноватый лед.
И не сморгнет.
И так весь день...
Там просто
такое хитрое гирустройство
на месте мышц и шейных позвонков,
что — выстрели! — когда летит
наметом —
и пятерной кульбит пять раз намотан
на взгляд — в тебя — неподвижный —
он таков,
неподвижный взгляд:
в тебя войдет и выйдет —
не видя — и на волю и насквозь.
Тебя он даже и НЕ НЕНАВИДИТ —
обидно, да? Хотя бы глянул вскользь,
как то умеют мужи и вельможи,
чьи мысли чем-то высшим заняты
и взор их отуманен...
те скоты,
что и под бледным гримом краснорожи.
Так я мечусь.
Мой взгляд — вовне.
Вовнутрь —
мой вой.
Вой от кромешной боли.

Забудусь к ночи —
при начале утр
мой взгляд — ТУДА,
В НЕВОЛЮ ИЗ НЕВОЛИ.
И клеть моя простерта от Москвы
до Соловков —
и взор недвижно вперя
ТУДА — и мимо прочей жизни — ВЪ
НЕВОЛЮ ТАМ, —

я понимаю зверя.

1997

СОЛЬ

Красив ее намет:
вся стелится — по-волчьи! —
собака-идиот
с душою, полной жолчи.

Укусит? Клином — клин.
Кусай: не горше разве
страх будущих годин
чем бред водобоязни?

Кусай — уйду навек
в Аральскую пустыню —
нормальный человек,
КАК ВСЕ ОНИ — отныне...

Забудусь — задышу
как встарь во время оно...
Но больно укушу
однажды почтальона!

Там белая зима —
там соль везде и, благо,
безводна и нема
слеза каракалпака.

Май 1997

З а п и с и**СЕСТРЫ**

Т. И.

Эта кобылица хороша.
Вскинет голову и смотрит гордо.
Но привыкла с детства: просит корда.
Где привычка? Где сама душа?
Эта хороша... Но лучше — та.
Та не терпит корда, ни хлыста:
встанет, глянет гневно и понуро...
Свободолюбивая натура!
И поверх тебя глядит — как в степь,
а какая степь за ипподромом?
Только стены в городе огромном,
ничего не видно, кроме стен.
Эта — первая, почти всегда.
Та — как вздумает, когда в ударе.
Но — всегда, когда с горячкой
в паре —
лётom! — без особого труда...

НА ДЫХАНЬЕ, НА ЗВУК

Шевельнулось АНАНКЕ*,

позабитое в словаре.

Как Тебе-то, цыганке,

разлука об этой поре?

...И по гребню волны выступая,

заплетая воздушные па,

возникаешь — слепая —

от февральского наста слепа.

И не рая подошвы

о коросту разлук,

простирая руки, идешь Ты —

на дыханье, на звук.

Только пропасти лезвие

у Тебя впереди:

— Леся! Лесинька,

не подходи!

Но слепое лицо улыбается:

шаг совсем невесом.

...Наяву продолжается

страшный сон.

* Рок (греч.).

СИЛОЮ НЕЛЕПОСТИ ВЕЩЕЙ

Терпение и мужество!
Еще не вышел срок.

На всем пространстве ужаса
остался островок...

Увижу землю милую
и доплыву до ней

уже последней СИЛОЮ
НЕЛЕПОСТИ ВЕЩЕЙ.

ПРОБА

✓ *Может быть*

Проснулся в полвторого —
 сна ни в одном глазу.
 Чья надо мною проба:
 свезу иль не свезу?

Дорога все прямее,
 все тяжелее кладь...
 Мне б повидаться с Нею,
 глухую боль унять...

Мне б коктебельский месяц —
 их не было, таких —
 сидел бы там как немец,
 мудрец — от сих до сих.

Да я б содвинул гору
 своих черновиков,
 что гибнут без призору
 для будущих веков!

Я был бы неослабен
 и свыше вдохновен —
 как Боря Чичибабин
 у Лилиных колен.

Да я не озорую...
 Да что вы — ну зачем?
 Щебенку собираю я
 с подъема на Перчем

и расцелую горстку
 шершавого тепла...
 Железная разверстка
 по времени прошла.

Совсем иная местность
лежит в моем окне.
Кому-нибудь словесность,
а ЭТО? — Это мне.

То самое, такое,
что ДИКО И СМЕШНО
настолько, что башкою
хоть высадить окно.

Кому-нибудь бумага,
~~дорога~~ налегке...
У ГОСПОДА ЖИВАГА
так страшно в кулаке...

Словеско

ЛЕСНАЯ РЕЧКА МЕЗА

Мне десять лет. Речонка Меза.
На солнце ржавая завеса,
и серая солома крыш
по свесу шелестит как мышь.
И замерла. Озноб и тишь.
И тьма... По шепоту-накрапу
понятно: подошла гроза,
и на починок, на леса
внезапно-мягко, ВНЕЗААПУ...

Ночь молнией ослеплена,
и молния в глазах черна,
и бабушка: «Крестись, крестись!»
А я весь — в любопытстве дерзком,
меня знобит и тянет ввысь!
Немая сумрачная близь
потрескивает свежим треском...

УДАР! — и вспыхнула изба.
И тут слепым и перевозанным
сухим и душным ураганом
уже проложена труба —
и как пурга по Енисею
в саянской воеет тесноте —
он навалился — дурью всею —
всею силой — сердца в простоте...

Мальчишке это незнакомо,
и надо прыгать и орать —
изба горит! летит солома
И ЛЮБО ЖИТЬ-И-УМИРАТЬ,
и вместе с солнцем рухнул ливень
на все избушки без крыш!

.....
Передо мною Ты стоишь.
Стоишь — и этот миг молитвен.
Шагни — и я перед Тобой
лесною землю расцелую...

.....
Так он пропер напропалую
вдоль Мезы выбранной трубой.
И все. И превратился в ветер.
А перешел я в третий класс
и распеваю в самый раз,
что НАХ ГЕВИТТЭР ШӨНЭС ВЭТТЭР.
А мой любимый омуток
весь золотом окантовало.
Плывет соломенный желток
среди безбожного повала...

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ХРЯЦ

Жара. Сады занемогли.
Дышать! Земля раскрыла соты
и трещины в разводах соли,
где слезы майские текли.

Правобережный хряц высок.
Над пропастью ковыль белесый.
Хрустальный раскаленный восток
дрожит над кромкою откоса.

Ей вровень ястребок парит
в широкой раковине ската.
Простор за Волгой говорит,
что здесь я был... давно когда-то.

Вот осокорь, седой как пшат.
Ручья иссохшее изложье.
Валун в сухое русло вжат —
как я в мой бред — Десницей Божьей.

Едва качаясь и скользя,
мой ястребок стоит на взмыве...
Ну что ж... Я знаю, что НЕЛЬЗЯ
ТАК ЖИТЬ, КАК НАДО: НА ОБРЫВЕ.

с. Бахмут

МАРТ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ,

веселый марток.

Следи по-над настом струение света
да передохни: прошибает поток,
снутри подпекает — не надо и лета —
тепло от залатанных ватных порток,

а то от чего же?

Струющийся свет
ложится смерзающей синевою
в тени от постройки.

Но как ты одет,
нелишне сказать, не последний предмет,
да шапку надень, не остынь головою.

Галоши, натянутые на пимы —
клеёные-красные. Ихние рыла,
как рыла соминые, только сомы
усато-черны — и бульдожии брыла.

Порты.

Осоюжены кожей порты.

Порты всероссийского кроя и цвета.

Садись хоть в костер — не поймешь теплоты

заплатанным задом — ниже мерзлоты —
хоть наста, хоть каменной этой плиты,
да я говорю,
мол, не надо и лета...

Ну, ватник, ну свитер.

Ну, свитер — статья

Своя... Чей крючок, чьи там слезы и ахи...

Как стих, грубошорстна кольчуга моя
и столь же вынослива, как амфибрахий.

К полудню — без ватника, весь налегке...
Топорик своей неизменной улыбкой
поблескивает и лежит на пеньке
и зыблется чуть, потому что в р е к е —
уж я говорил — кудреватой и зыбкой,
по настам...
И зимняя крепость в теньке.

Дробится с утра, а заплодень бревно
податливо, врубчиво...
Рубишь как репу.
Зато не поет уже так, как должно.
Повыберешь паз и с у х а р ь для укрепу.

Но — в сторону, ладно, щепу-канитель!
Зачем эта плоть так бела и красива?
Затем, что она —
РЕЗОНАНСНАЯ ЕЛЬ,
что белым песком вспоена древесина.

Те нейские сахарные пески
так шелковы, так ослепительно белы,
что их укрывают и кутают мхи
от лишнего света —

Так я на Тебе бы
все сбитое-скомканное поправляя,
от первых лучей наготу укрывая...

Да-да... Музыкальный такой матерьял...
Его изначальная плоть стволовая...
О чем это...

Струноподобная ель
не преобразится уже, безусловно,
ни в скрипку легчайшую, ни в вьолончель...
Что ж будет?
— НАДКЛАДЯЗНАЯ ЧАСОВНЯ.

ТЕЛОЧКА МАЯ

Волхова не уже —
воля без плотин —
солнечная Унжа
со следами льдин
 волны катит прытко,
 а на крутизне
 пустынька-улитка:
 узкая калитка
 в крепостной стене.

Келии смиренный
обращают взор
в тот же неизменный
монастырский двор.
 Только яшень вечный
 с высоты крестов
 смотрит вдаль, в заречный
 солнечный простор.

Может, с этой вышней
вольной крутизны
Виден город Нижний,
улицы видны...
 Только не об этом!
 Сразу задохнусь...

Ласкою и светом
Бог спасает Русь.
 Дарьнице чернице
 нынче не спалось.
 Стрелочки-ресницы
 вниз глядят и вкось.

Сенную постелю
в келье постлала:
Телочку АПРЕЛЮ
к пятому ждала.

Пятое, шестое...

Шло не торопясь

время золотое:

МАЯ родилась.

МАЯ — ножки дрожки,

кожицы гармошки,

оченьки — янтарь —

МАЯ Божья тварь.

Стрелочки-ресницы

ввысь и вразнокось.

Дарьице-чернице

то-то не спалось!

Макарьев

КРОМЕ

Сыпучие отвалы, пустыри,
заплатанные огороды —
и годы поздние — внутри
мгновения свободы.

Как в медленном кино
я переплыл ГОРОДОВОЕ ПОЛЕ.
Я знал давно,
почем ЛЮБОВЬ И ВОЛЯ.

Все меньше лиц, все больше спин.
Земли и неба ширь...
А дух соблазна нестерпим
как нашатырь!

Привет местам, где не бывал!
Я рад, я жив, мне больно...
Свергается как солнечный обвал
четырёхъярусная колокольня.

Такой полет! Такое торжество
любви в природе! —
и больше в мире ничего
не надо — кроме.

Дожди все лето. Напитался лес.
Всю осень льет и льет — неумогу!
А тут мороз — пальба рвет бересту:
по нежной глади молнийный надрез.

Кружится, замедляя ток, шуга,
сужая забереги-берега.
На синий лед садятся мотыльки
дыханья остывающей реки.

Следи наплзновение шуги
на лезвееобразные края.
Сейчас проломают лед твои шаги.
Все тоньше кожа, ближе кровь твоя.

На миг ослепни в солнечном снопе,
что бьет сквозь иней веток и стволов,
весь в радуге — на миг ясна тебе
алмазная основа всех основ.

В РОСЕ И В РОССЫПИ СНЕГОВ

Танцует ослепительный тореро
и наземь рушится отвесный свет.
Мои видения блуждают. Мера...
Какая мера там, где меры нет?

Еще плеснем на камни полковша:
там жар малиновый и золотистый —
и пар прозрачный с шорохом и свистом
из каменки рванется как душа!

... Врезаются уродливые тени
в копытами взрывае́мый песок
и взглядов тысячное средостенье
сопровождает тягостный бросок

быка... ленивый прогиб поясницы —
вихляющую грацию того,
кому играть со смертью и дразниться
надоедает... Только и всего.

И только словом прикоснулся тайны —
рог пропорол спящую парчу...
Но видеть *этого* я не хочу
на потолке каленой черной байны

Там сажа — идеальный негатив
жарюю выжатых небес Испании.
Косое солнце, снег позолотив,
выносит радужный парок из бани —

и Ты ныряешь в снег — свежа, смугла
вишневой смуглотой кровей цыганских.
Не вынесла разлуки, не смогла —
ни заповедей вегетарианских!

Ты — всех своих грехов поверх и вне,
Ты, Господом порученная мне —
вся — жизнь! — вся — счастье! —
вся — огонь в огне! —

в росе и в россыпи снегов парфянских!

Парфеньево

РЕКА С ОТОРВАННЫМ ДНОМ

Съде Вермишевой

Здесь омут от страха недвижим и чорн,
а берег замшел и расщелист.
И зубом базальтовым звук рассечен
на грохот внизу и на шелест.

Все плесо, натянутое как батуд,
зеркально-полого и ровно,
и лдза причалена именно тут...
И в ней — никакого Харона.

Ты сам.
И тебя понесло, понесло
чуть согнутое водяное стекло...
Ложись как индеец в каноэ
и руки скрести, чтобы дух вознесло
куда-то во что-то ИНОЕ.

А нет —
так греби, хоть не жизнь дорога,
да песня еще не допета...
Греби же — авось, не к чертям на рога —
по ходу — и П Е Р Е Л Е Т А Е Ш Ъ — ara! —

в то ложе, где гложет свои берега
и КАМНИ ВОРОЧАЕТ ЛЕТА.

ОТ АВТОРА

Просто не хотелось расставаться!

Быть может, я приобрел друга? Или кому-то помог? Ведь был же в телефонной трубке женский голос: ВЫ СПАСЛИ МНЕ ЖИЗНЬ! А после грузинского вечера в Питере юная женщина /другая/, показывая мне синюю книжечку вольных моих переводов из Галактиона Табидзе, сказала: Вот... мы разошлись с мужем, разделили библиотеку... не могли только разделить эту книжку. Я отвечал ей: Немудрено! Семь лет я переводил Галактиона, движимый восхищением, нет, благоговением: великий грузин спас русскую честь, испортив голгофской черни ее праздник единодуший. 17 марта 1959 года он выкинулся из окна больницы в Тбилиси — в ответ на гэбэшно-писательское предложенье заклеить Бориса Пастернака. Немошный, до конца изработанный старик будто исполнил самому себе предназначенное в юности: Я УМРУ КАК ЛЕБЕДЬ.

Ты этого не знал? Такие вещи не популярны... Теперь знай. Ты молод? Тогда разговаривать нам легко. Не очень молод? Но никогда ведь не изживают молодость совсем и бесследно. Говорить можно и с памятью лучших порывов. Иное дело — когда эту память ты только раздражаешь, не оживив. О, тогда не друга — прямого врага ты приобрел...

*Все меньше лиц, все больше стин. Земли и неба ширь.
А дух соблазна нестерпим — как нашатырь!*

Ты заметил похожие на след взгляда то рассеяно-созерцательные, то стремительные линии на гравюрах Владимира Васильева? Очень МОЙ художник... Вертикали суть повсеместная моя АППЕЛЯЦИЯ К ВЫСОТЕ: положения, духа, поступка. Слова, наконец. Мое любимое пространство.

Ведут этап. Конвой развлекается: где дорога погрязней, командует: Садись! И невольничья толпа садится на корточки или встает на колени. И ВОТ ОДИН ЧЕСОВЕК НЕ СЕЛ. Он стоит прямо и ждет пули. Пока он ждет ее, пока яриться конвой, прислушайся к покорно сидящим: “Глухой, что ли?” “Идиот” “Чудак” “Жить надоело” “СОБЛАЗНЯЕТ” “Нам же хуже будет” “Не ко времени...” Это один тон и ряд.

Другой — разверни сам. Буду рад, если тебе не хватит страницы, десятка страниц для истинной мотивации такого ПРЯМОСТОЯНИЯ. И против какого-нибудь “фраера” /с прекрасным корнем *фрай* внутри блатного слова/ или “гордеца” в том ряду — напишем твердое Н Ъ Т Ъ — через ять, Н Ъ Т Ъ как знак отречения от рабства, знак спасенной чести: эту хрупкость, оказывается, можно спасти и в таких жерновах! Он стоит и ждет пули, стоит прямо и все прямее — РАДИ тех, кто уцелеет. Спасает весь этап. Проводит борозду через две-три извилины в башке конвоира, который уже не может выстрелить.

Бросок Галактиона.

Фигура стоящего посреди толпы.

Пламя сжигающего себя Яна Палаха.

Н Ъ Т Ъ Михаила Кожова, лимнолога, не позволившего идиотическим энтузиастам взорвать Шаманский порог Ангары и опустить Байкал для рапорта о досрочном заполнении Братского котлована.

Н Ъ Т Ъ Пастернака, выгнавшего писательскую делегацию, которой нужна была подпись поэта под одобрением смертной казни...

Апелляция к трагическим высотам духа, прямо или косвенно /или “от противного”/ звучащим в этой книге, будучи изображенной Васильевым, покрыла бы ливнем отвесной штриховки все ее страницы.

“Проза” тут неизбежна. “Борьба” с ней вот какова: я не приземляю стихи — я их ЗАЗЕМЛЯЮ. Остаются они стихами, нет — не так мне важно. И если из строчек какого-нибудь “ГРИФА ДСП” начнет всплывать картины северных “анти-рек”, перекрытого двухэтажного белого моря, разливов над болотами и лесами — застойных полостей, площадью равных Каспию, — так пусть она и всплывает в сонном неведении нашем.

Мне теперь неважная честь, какую рифму рожаю я...

Нечто за-земленное. Или что-то донельзя интимное. Или сторонне-дневниковое. Критики, кабы они еще замечали, что Россию несет АМАЗОНКА СТИХОТВОРЧЕСТВА — ибо Лета ее несет! — вникали бы в стих наш со стороны “превышения” жанра или “пренебрежения” к нему. Растолковали бы публике и авторам расширение поэтики как неизбежность. Все бы легче было жить.

Уважили бы нас: ведь Родина наша СТИХАМИ ДЫШИТ КАК ЖАБРАМИ — то учащенно, то смертельно-замедленно. Бабка Лиза, что плавала в борозде, собирая картошку, изумляется:

*изустала да и пала да ЗАПЕЛА Я
во всю голову дура угорелая.*

Тут и расширьте поэтику.

*С трудом читаю и не люблю его,
но после Пушкина я ставлю Клюева.*

Тонущее судно увлекает в водоворот неосторожную лодочку. Каков же мальштрем вослед тонущему материку?

На очередном переходном этапе к неототалитаризму Земля тонет в асфальтах, культуры — в цивилизациях. Шукшин говорил: одна нога у меня в лодке, другая на берегу. Тонет нога, стоящая на тонущей земле. Невидимая секущая грань этих ножниц доходит до сердца. В давних стихах о Боратынском я почти цитировал его:

*Пусть выбирает форму материал:
На то и опыт мой и очи зорки,
чтоб вещей смысл народной поговорки
надменную премудрость поверял.*

/Что ж тогда сказать о надменном легкомыслии? Текущий 2000 год — год Боратынского — скользит безымянно вослед Пушкинскому. Мысль — не ко двору нам./

Так что же Клюев?

Бесспорный и самый полномочный представитель уходящей великой КРЕСТЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ — мои “трудности” с ним тут ничего не значат — сообразно этому сану вел себя на лубянских допросах. Лукавый мужичок, будто в сказке *опрокинься*, опрокинул абсурдное положение, в которое загнали трудовой талантливый народ, вверх тормашками! Он предстал мучителям — четким и гневным Обвинителем враждебной народу власти. Через ее исполнителей говорил он — ей, ей в очи, говорил как политик, экономист, историк, поэт, человек. Говорил КАК ВЛАСТЬ ИМУЩИЙ — как не говорил ни один из писателей! Среди их пестрого и разбредаящегося, но в основном покорного и понурого этапа Николай Клюев оказался тем высоким и прямым Человеком, одним из многих, ответственным за них...

Река в плотинах; женщина в несчастном браке; всякая рутина в ежедневных ее подробностях... ЗРЕЛИЩЕ НЕВОЛИ и насилия хот и смиряет и культивирует привычку, но утомляет сердца. Привилегия художника — возвращать человека к букварю Свободы, дарить ему зеркало, отображающее Личность. Вот почему нас не любит власть. ГОСТЬ, мой друг, ты везде. ХОЗЯИН — там, где обиходил место жизни — взрастил, построил, украсил... Помог земле, дичающей и бесхозной.

Минуты ЧИСТОГО СЧАСТЬЯ — минуты усталости и созерцания труда своего. Без этого нет жизни, нет и книги. Полжизни прожито на асфальтах — еще половина, еще не дожитая, отдана земле. В этой мере я и хозяин... А хозяин, бывает, непрочь похвастаться. Вот дом, который построил я и воспел постройку слогом Гесиода. Вот мост, вот гать, вот чистая дорога на Голгофу Анзерскую. Вот печи и крыши, вот лодки, вот часовня. Вот премия “ВОДЛОЗЕРЬЕ” — не какая-нибудь — ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ! Как тут посреди “Букеров” не задрать нос? А вот ГОЛОСА, прислушайся: ИЛЬИН ОСТРОВУШКО БАЖОНЬИ... Без магнитофона слышно, а? Еще одно СЧАСТЬЕ — узнавать там, где не чаешь, большее, чем знают на университетских кафедрах замечательные филологи. Недаром Владимир Турбин дважды приезжал в нашу карельскую деревню. Земля...

*И в первые руки и мимо чужого ума
начальное знание она мне вложила сама.*

Не обессуди, беря из первых, все то черновое и натуральное, что Валентин Курбатов зовет НЕПРЕОБРАЖЕННЫМ...

Книга дважды, в 1999 и 2000, вставала в очередь на Госпремию. Красноярский альманах “День и ночь”, Костромской Фонд Культуры, журнал “Дружба народов” ставили меня в это... неловкое положение. Спасибо им: у меня был умысел. В интервью “Книжному обозрению” я обещал красиво отмыть нечистые господеньги, издав на них несколько книг, подобных книге “ЗА ЧТО?”* Выглядело бы это так: непожатая рука Президента Ловисла и опадает, пока в микрофон, забитый сладкими слюнями верноподданности, я поздравляю власть с долгожданным почином покаяния:

* “ЗА ЧТО?” Проза, поэзия, документы. Материалы Комиссии по наследству репрессированных писателей. Составители В. Шенталинский, В. Леонович, М.: “Новый ключ”, 1999. 560 с.

она убивала лучших-талантливейших — теперь начинает воскрешать. С особенным удовольствием я приветствовал бы Президента-офицера ГБ, испросив у него особое дозволение работать в недоступных архивах.

*Когда ты меня приглашаешь в salon élegant
то я вспоминаю, что я костромской хулиган.*

Ну, а когда уж в Кремль... Вот упущенный неведомым жюри случай неформального поведения того, кого думали приласкать. А прецедент был замечательный: Солженицын отстранил протянутого ему "Андрея Первозванного", не запачкав руки своей. Это на деньги Александра Исаевича издана книга "ЗА ЧТО?" Найдите ее — там и стихи про Человека посреди толпы.

Один — и многие. Один — на кресте. Забудь, мой милый, кличку "индивидуалист". Пойми все крупно и просто: ПРАВСТВЕННАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО может или должна быть в сотни раз больше той, которую мыслят как норму. А пятый раздел книги посвящен ОДНОЙ — заменившей всех.

Владимир Леонович.

Я ждал, что какое-то государство
меня не полюбят а ГБ
не забудут.
Иногда я спокойно
озорю вас.
А Борис Ч. лучше от
Ельцина была не к лицу,
но, как всегда ему,
я добавил — "я не" "соб. доп"

ОГЛАВЛЕНИЕ

Валентин Курбатов ЗА МНОЮ — ЖИЗНЬ 5

I

МУЗА

| | |
|---|----|
| «Где эта грешная обитель...» | 15 |
| «Родина, благ твоих я не отрину...» | 16 |
| Поединок | 17 |

ДВА СТИХОТВОРЕНЬЯ

| | |
|-------------------------------------|----|
| Архангельск, 3 июня 1989 года | 18 |
| «Невесомый мотылек...» | 19 |
| Страсти Егория | 20 |
| Возле станции Иня | 21 |
| Русью пахнет | 23 |
| Братец | 25 |

Памяти отца Феодосия Чулкова, священника

| | |
|----------------------------------|----|
| Николо-Вознесенской Церкви | 27 |
| Сводный хор | 29 |
| Никаких проблем | 31 |

З а п и с и

| | |
|-----------------------|----|
| Другие волосы | 33 |
| Хоть на миг! | 34 |
| Устами младенца | 35 |
| Конюх Вася | 36 |

З а п и с и

| | |
|--|----|
| Про Иван Пальгач | 37 |
| Сигналистка | 38 |
| Побьемся, поживем... .. | 40 |
| «Попивая коньячок...» | 41 |
| Сушь | 42 |
| «Тише — глуше...» | 43 |
| Охота | 44 |
| Отдача | 45 |
| Цэл жизн | 46 |
| Длится свет | 47 |
| Семеро и один | 48 |
| Букварь, где царствуют милость и жалость | 49 |
| Вся простота | 51 |
| Царь-свеча | 52 |
| Как ты съеден | 53 |

| | |
|--|----|
| Больница. Лето | 55 |
| Подмосковная кляча | 56 |
| З а п и с и | |
| «Вот какие мне подарки...» | 57 |
| «Прервав застолье и уют...» | 58 |
| ЗЕМЛЕЙ И ВЕРОЙ | |
| «Ортодоксальный идиот, ревнитель правил...» | 59 |
| «Нам вышла ото всех щедрот глухая трасса...» | 59 |
| «По обе стороны черты сегодня правда...» | 60 |
| Левак | 61 |
| Тип | 62 |
| «Вынув из урны хлеба кусок...» | 63 |
| Недуг | 64 |
| КЕНЮШКА, АННУШКА | |
| «Батюшка Елпидифор Иннокентиевич...» | 65 |
| «Две красы у посада у города...» | 66 |
| Гогот беспартийный | 67 |
| Когда вы понадобились, вы устали | 68 |
| Гефсиманская сонливость | 69 |
| Отныне — никуда! | 70 |
| Диоскурия | 71 |
| Друзьям тех лет | 72 |
| «Разумный скот...» | 73 |
| З а п и с и | |
| Склад ума | 74 |
| Гриф ДСП. Проект века | 75 |
| Костромичам | 77 |
| Пляс | 78 |
| Шала | 79 |
| П о р т р е т ы | |
| КАПИТАН | |
| «Перемычка всю ночь фильтровала...» | 80 |
| «Есть минуты, когда инженеры...» | 80 |
| «Так и замерли над водопадом...» | 80 |
| «Тут я сделаю паузу, выдох...» | 81 |
| «Капитан презирает...» | 82 |
| «Но закончим хоть главную сцену...» | 83 |
| «Эти древние гальки и глины...» | 83 |
| Напрямик | 84 |
| А я вам говорил | 85 |
| «Когда ты меня приглашаешь в <i>salon élegant</i> ...» | 86 |

| | |
|--------------|----|
| Стансы | 87 |
|--------------|----|

II

| | |
|--|-----|
| Разделяя граниты | 91 |
| Грузинские стихи | 92 |
| «Лесная родина. Июль...» | 93 |
| Галактион читает | 94 |
| Тависуплеба | 95 |
| Ольга | 96 |
| Дедушка убийца | 97 |
| Дева пустынь | 98 |
| Мэиа | 99 |
| Памятник Пиросмани | 101 |
| Сабуртало. Статуя | 102 |
| «От подземельного толчка...» | 103 |
| Его свободная основа | 104 |
| Акварель | 105 |
| «Вижу: давно идете...» | 106 |
| Терпение свободы | 107 |
| Ахпат-Урпах | 108 |
| «А Вам, Гаянэ...» | 110 |
| Памяти Гурама Асатиани | 111 |
| В горах | 112 |
| «О чем же, о чем же? О молнии зябкой...» | 113 |
| Скотина человек! | 114 |
| «В рай попал по ошибке...» | 115 |
| Ревность | 116 |
| Доверься счастью | 117 |
| Переводчик, сломай карандаш | 118 |
| Влип | 119 |
| Набросок <i>Что колудит...</i> | 120 |
| «Пловец, который плавает с умом...» | 121 |
| Верховья | 122 |
| На берегу | 124 |
| Мыс Шаляпина | 125 |
| Ника | 126 |
| Поезд Москва — Тбилиси | 127 |
| Из альбома | 128 |
| Отрывок | 130 |
| Монолог | 131 |
| Синьорина Звукозапись | 132 |

Волны надвинулись

| | |
|---|-------|
| Тоска по Важа Пшавела | 134 ✓ |
| «Мальчишеский голос чистейший...» | 135 ✓ |
| 70 — 90 | 136 |
| Тем, кто стреляет | 137 ✓ |
| Светицховели | 138 |
| На поле красных маков | 139 |
| «Метель в печной трубе...» | 140 |
| «Сердце без меры упорное...» | 141 |
| Две матери | 142 ✓ |
| Пятнадцатое прошение | 143 |
| Енисейский грузин | 145 |
| На каменном пригреве | 146 |

III

| | |
|--|-----|
| «Через поле, через лес...» | 149 |
| Имя прадедово | 150 |
| Печать | 151 |
| «В Калязине душном шиповник цветет...» | 153 |
| В сознании дремучих прав | 154 |
| Река была рекой | 156 |
| Что, Волга? | 157 |
| Со свадьбы | 158 |
| Пейзаж с обглоданным пеньком | 160 |
| Три акта. Баня, милиция | 162 |
| Мое вам | 163 |
| След | 165 |
| Сентиментальные стихи | 166 |
| Село Никола | 167 |

МАВРА

| | |
|---|-----|
| «Игемон римский Ариан...» | 169 |
| «Столичной роскоши в укор...» | 170 |
| «Полузадушенный, немой...» | 172 |
| «Настал игемона черед...» | 173 |
| «Игемон Мавры сторонится...» | 174 |
| «Иди, народ — прости меня...» | 175 |
| «Крест — и крест...» | 177 |
| «И вот конец. И вот с о в с е м...» | 178 |
| «И перелилось через край...» | 178 |
| Зимние цветы для Беллы | 179 |

З а п и с и

| | |
|--|-----|
| После разговора с бабкой Анной, голос еще в воздухе | 182 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| «Туманный дождик тише тишины...» | 183 |
| З а п и с и | |
| Агриппина | 184 |
| З а п и с и | |
| Марина | 185 |
| З а п и с и | |
| Писёмушко | 186 |
| З а п и с и | |
| Степка да Валька да Ванька да я | 188 |
| «Век живет у оврага...» | 190 |
| Кар-озеро | 191 |
| «Есть бродяге куда податься...» | 193 |
| «Давнею бурей снесена...» | 194 |
| Обидища | 195 |
| Ноябрь | 197 |
| «Морозец. Дымка по воде. Гагары...» | 198 |
| «Одна заветная? Их две...» | 199 |
| Три слова | 200 |
| Поклон костромским старухам | 201 |
| З а п и с и | |
| Однолеся | 202 |
| Голубь | 203 |
| ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ГОЛУБКОВА | |
| «Ты был...» | 204 |
| Косое поле | 205 |
| Почем? | 206 |
| Чужая | 209 |
| П о р т р е т ы | |
| Твардовский | 210 |
| П о р т р е т ы | |
| Варлам Шаламов | 218 |
| Миусский собор | 220 |
| Стансы | 222 |
| О семи церквах | 224 |
| «Нагая тишина безветрия...» | 225 |
| Углебохи | 226 |
| «Осенний муравей...» | 227 |
| «Я вышел из унылой гари...» | 228 |
| «Четвертый час, когда колдуют сны...» | 229 |
| Белоруково | 230 |
| «Резко пахнет давленная хвоя...» | 231 |

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

| | |
|-----------------------------------|-----|
| «Сплю и складываю печь...» | 232 |
| «Эта воля любит власть...» | 232 |
| «На два полных этажа...» | 232 |
| «Толща храмовой стены...» | 233 |
| «Кольяхаясь в полумраке...» | 233 |
| Посад | 234 |
| Страда | 235 |
| Враг социализма | 236 |
| Не оглянись | 237 |
| Дом | 238 |

IV

| | |
|--|-----|
| «Что женщина не виновата...» | 241 |
| Но только так | 242 |
| Визит к Пастернаку, 1937 | 243 |
| Портрет | 246 |
| «Все одна и та же сила...» | 248 |
| Две строки | 249 |
| Явления и силы | 250 |
| Рейнгляс | 251 |
| Запоздалые стихи | 252 |
| В чистых пеленах | 253 |
| Объяснительная записка | 254 |
| Никола-колокол | 255 |
| Музыкальный след | 257 |
| Мгновенье слабое | 258 |
| <i>П о р т р е т ы</i> | |
| Барановский | 259 |
| «Хороший парень. Милая семья...» | 261 |
| Полет в полет | 262 |
| «Близится солнце вечернее...» | 263 |
| Первый ученик | 264 |
| <i>З а п и с и</i> | |
| Диалог | 265 |
| <i>З а п и с и</i> | |
| Встреча | 266 |
| Песня | 267 |
| Часовня Рождества Богородицы... .. | 268 |
| Переживи! | 269 |
| Пацифисты | 270 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Сегодня | 271 |
| Весною поздней | 272 |
| Орлиное перо | 273 |
| «Тяжела и вязка...» | 274 |
| Зазор над прозой | 275 |
| Осиновые слезы | 276 |
| Ветром и пеплом | 277 |
| Рука сочинителя | 278 |
| Поречье | 279 |
| «Свет идет от земли...» | 280 |
| У Нестерова | 282 |
| За звуком | 283 |
| Не опоздай к концу | 284 |
| Константин | 285 |
| Могучий поздний возраст | 286 |

V

| | |
|--|-----|
| Имя | 289 |
| Огонь-огоник | 290 |
| Прощанье | 291 |
| В цветах и на воле | 292 |
| <i>З а п и с и</i> | |
| Бар Нептун. Пять утра. Десять утра | 294 |
| Никто и нигде | 295 |
| Дмитрию Александровичу Пригову... .. | 296 |
| Гербовый след | 297 |
| Какой букет у нас сегодня! | 298 |
| Мгла | 299 |
| <i>З а п и с и</i> | |
| Без названия | 300 |
| Надпись | 301 |
| <i>З а п и с и</i> | |
| Дивья бы | 302 |
| Эти кольца | 303 |
| Единым дыханьем | 304 |
| Именем любви | 306 |
| «Сквозь дождь и дерево нагое...» | 307 |
| Автору книги «Люди моей жизни»... .. | 308 |
| Прилив | 309 |
| Рама | 310 |
| Натура | 311 |

| | |
|---|-----|
| Из моей кожи | 312 |
| Адамово ребро | 313 |
| Ракита | 315 |
| Год быка | 316 |
| За лилиями | 317 |
| Святое утро | 318 |
| Искони бе огонь | 320 |
| Пока дышу. Отрывок | 321 |
| <i>З а п и с и</i> | |
| Дай им, Клавка | 322 |
| <i>З а п и с и</i> | |
| Пушкин | 323 |
| Порука | 324 |
| Рояль в избе | 325 |
| Арена | 327 |
| Чтобы жить | 328 |
| <i>З а п и с и</i> | |
| Костер. Сон. Шепотом | 329 |
| Отелло | 330 |
| Письмо с пометками | 331 |
| «Работа разрывов, разлуки труды...» | 333 |
| От польньи до польньи | 334 |
| Взгляд | 335 |
| Соль | 337 |
| Ночью в подъезде | 338 |
| <i>З а п и с и</i> | |
| Сестры | 339 |
| На дыханье, на звук | 340 |
| Силою нелепости вещей | 341 |
| Проба | 342 |
| Лесная речка Межа | 344 |
| Правобережный хрящ | 346 |
| Март благословенный | 347 |
| Телочка Мая | 349 |
| Кроме | 351 |
| «Дожди все лето. Напитался лес...» | 352 |
| В росе и в россыпи снегов | 353 |
| Река с оторванным дном | 355 |
| ОТ АВТОРА | 356 |

Леонович Владимир Николаевич

ХОЗЯИН И ГОСТЬ

Книга стихов

Лицензия № 030671 от 09.12.1995 г.

«Научный мир»

119890, Москва, Знаменка, 11/11

Тел./факс (095) 291-28-47.

E-mail: naumir@ben.irex.ru.

Internet: http://ben.irex.ru/N_Mnm.htm

ЛР ИД № 03221 от 10.11.00.

Гигиеническое заключение

№ 77.99.6.953.П.3619.6.99 от 29.06.99.

Подписано к печати 01.12.00.

Формат 84×108/32

Печать офсетная. Уч.-изд. л. 11.5. Усл. печ. л. 19,32

Тираж 1000 экз. Заказ 4621—00

Издание отпечатано в 12 ЦТ МО

Москва, Староваганьковский пер., 17.